



ИННА КУЛИШОВА

ФРЕСКИ
НА ВОЗДУХЕ

КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ

ПОЭТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА
«КЛАССИКИ XXI ВЕКА»

ИННА КУЛИШОВА

ФРЕСКИ
НА ВОЗДУХЕ
(НЕРВНОЕ ДОВЕРИЕ)

книга стихотворений

МОСКВА 2014

Кулишова, Инна
К90 Фрески на воздухе (Нервное доверие) : Книга стихотворений /
Инна Кулишова. — Москва : ИП Елена Алексеевна Пахомова, 2014. — 191 с.
ISBN 978-5-906568-03-8

© Кулишова Инна, текст, 2014
© Красновский Яков, оформлание, 2014

Человека преследуют всякие соблазны: слава, богатство, власть, «вол и жена ближнего», да мало ли что еще... Но самый главный, и, по-моему, самый опасный – соблазн упрощения. Как будто некий голос (можно догадаться чей) нашептывает: *проще надо быть, не мудри...* И люди кивают: *правильно, чего мудрить-то, накручивать не пойми что...* Кивают, да не все. И в результате получается – у одного «Пьета», а у другого – Ленин в кепке.

Инна Кулишова – из тех, кто отказывается упрощать. Даже не то чтобы отказывается, а, по-видимому, просто органически неспособна. А еще она не хочет успокаивать – мол, не переживайте, все будет хорошо... За эту «утешительную» ноту мы даже сложность иногда готовы простить. Но нет этой ноты у Кулишовой. Наверное, по той же самой причине, по какой она не хочет и не умеет упрощать – из-за «онтологической» (рифмуется с «патологической» – ну, пожалуйста) честности.

«... и что-то в этой злой
но песне было верно...»

Нет, стихи Кулишовой совсем не злые. Они, повторюсь, просто честные и поэтому иногда... беспощадные.

Главная тема Кулишовой – человек и Бог. Вы скажете, что это звучит слишком общо и что все хорошие стихи крутятся вокруг этой темы. И так, и не так. Бывает по-разному. Но про стихи Кулишовой так точно можно сказать. Приближаясь к своей главной теме, автор пользуется несколькими дверями. На одной двери написано «еврей и Бог», на другой – «еврей-христианин и Бог», на третьей – «Грузия», на четвертой – «война», на пятой – «любовь».

«Попытка любви» – так называется последний раздел книги. Тех, кто надеется почитать «нормальные женские» стихи о любви,

ждет разочарование. Экзистенциальное напряжение предыдущих разделов не только не падает, но, кажется, еще нарастает.

«Если есть любовь, значит, нет любви...»

Вы заметили, что сегодня почему-то почти ни у кого «нет времени» и «нет сил»? Особенно психологических и духовных. И на фоне этого всеобщего бессилья голос «Попроще, ребята» звучит все громче. Я очень благодарен Инне Кулишовой за то, что она не сдаётся.

Дмитрий Веденяпин

Доверие не бывает нервным, фрески на воздухе рисовать бессмысленно, поскольку они осыпятся уже через несколько месяцев. Так название книги предупреждает читателя, что ему придется иметь дело с чем-то весьма необычным, что поэзия в этом сборнике никак не собирается служить вкусным и полезным «сладким лимонадом», по выражению Державина.

Дарование Инны Кулишовой отражает тревожный и ратерзанный внутренний мир. Ее стихи напоминают мне картины немецких экспрессионистов, написанные в страшные для Германии 20-ые и 30-ые годы. Ужас окружающего, его уродство, жестокость и бессмысленность предстают в этой книге с жуткой прямотой. Иногда она подчеркивается нарочитым косноязычием, иногда – хаотическим нагромождением образов, иногда обрыв строки раскалывает пополам даже сами слова. В этом мире «ни у кого нет лиц, и лиц на них нет», и «небо – что вечный Господний подвал».

Фотографией сна проявлюсь
там, где землю закрыл мегаполис,
и жас-
мин выдуман в чае-китае, и зевает меж
пальцев и мыслей мегаполис без неба.

Такая поэзия, которую условно можно назвать дисгармонической (или попросту – неустроенной), конечно, не новость. Инна Кулишова многому научилась у своего соотечественника Маяковского, тоже уроженца Грузии. Не осталась она в стороне и от уроков мятежной Марины Цветаевой. Этот путь тернист. Есть читатели, которые не прощают поэтам неприятия мира, ожидая от стихов несложного и понятного просветления, «чтобы было красиво».

Между тем все не так просто с поэтическим ремеслом (как, впрочем, и вообще с искусством). Иногда оно как бы забывает о пре-

красном идеале, сосредотачиваясь на вещах и явлениях, ему противостоящих – тем самым, разумеется, утверждая этот неназываемый идеал в душе читателя – да и в своей собственной. Впрочем, в последние годы в стихах нашего автора стало появляться больше света – в них пришел Христос. И пусть Ему тоже неуютно в нашем мире – но по крайней мере, Он проливает в него луч обыкновенной человеческой надежды.

Инна Кулишова – поэт страдающий, мятущийся, нелегкий для чтения. Однако ее поединок с миром – талантлив, ей есть чем обогатить взыскательного читателя.

Бахыт Кенжеев

Самым близким – немногим любимым

Говорит он деве слово,
смотрит в очи – блеск маслин,
ты роди, жена, святого,
будет он другим как сын,
а мы станем, а мы станем
все детьми его, а он,
он пройдет по нашим тканям,
складки выпрямив в поклон.

Дева, очи опуская
и вздыхая тяжело,
отвечает: – Где у края
видел ты еще весло?
Не вошедший, это ты ли?
Не клонись, не дуй в меха.
Не рождаются святые
без греха.

Нет у ткани того края,
чтоб держать поклон земной.
А как будет нам с тобою
Сын рожден. Не твой, не мой.
А как стану просто телом,
не забывшим естество,
молодым и неумелым
для Него.

Нам с тобою быть святыми,
поворачиваться вспять,
жезлом милостивым Имя
вслед держать.

Это Он придумал, это
для Него. А мы при чем?
Муж – не муж, И Сын без Света
быть не сыном обречен.

Это ночь? Мне кровь казалась.
Значит, дальше нам идти.
Нам с тобой досталась малость
по – Его – пути...
Это тьма? Мне кровь на руки
попадала под Крестом.
И взяла Я на поруки
этот свет на свете том.

Февраль 2010

* * *

Распоеется цевница в начале дня,
превращая в пещеру весь дом.
Ничего не исправлю. Взгляни на меня.
Рцы мне, Отче, что будет потом.

Вот священники ходят по дну в стихарях –
распускаются волны вверху,
вот навстречу Марии идет то ли страх,
то ли Некто, и крылья в паху

сложены, словно числа, которых не счесть.
А дорога к ручью – камни да
сны, пойдешь, и вблизи не поймешь, что за весть,
удалившись, увидишь – вода.

Обмывает планеты упругий живот.
И поди разбери, кто ступил.
То ли смерть, то ли жизнь за собою зовет,
и у входа стоит Гавриил.

07.04.2008

Зачем еще звезда, когда – Звезда?
И в рыбной чешуе ночное небо,
и напролом, и просто так туда
идут, не зная, есть ли в том потреба...

Да, вот Он, Он младенец, Отрок Он,
не юноша, не мальчик, не подросток,
но – Сын. И это все – потом, потом,
пока же ночь, в проказах и коростах,

в залатанных одеждах кровавых,
в раскованных мечях, в кузнечной пыли,
пока же – ночь, и бьющая под дых
дорога в узкий вход. Им говорили:

«Не празднуйте Рождение Его»,
не празднуйте, из раны выйдет – в рану,
но по небу летят младенцы во
крылах и крови, и поют осанну.

Но по небу младенцы, выше слез
родивших, вы же слышите их песню?
Да, вот Он, взял к Себе и в мир принес,
чтобы вложить безустное «Воскресну».

Но это все – потом, потом. Пока
туда идут, и посохи, как древа,
бросают тень на ночь, издали
почувствовав бессеменное чрево.

Январь 2010

А сейчас надо снова возвратиться
к состоянью полипа,
и расти, расти до медузы
породы *Turritopsis*¹.
Это краткий синопсис,
открывающий шлюзы
где-то к концу. А пока – Антипа,
Пилат, воск на пальцах, страница,

по которой мусолишь бессмысленным взглядом.
Что касается... Этот всегда будет рядом.

Да, забыла добавить: говорят,
лишь она одна способна к бессмертию.
Говорят, еще та порода.

Наверное, потому что может расти, как взгляд
от страницы вверх (высота условна), огонь под клетью
мышц. А как вырвется – схватит его свобода.

Жаль только, нет у медузы лица – для творца.
Что касается... Этот будет ждать до конца.

Февраль 2010

¹ *Медуза Turritopsis Nutricula* считается единственным на планете бессмертным существом. Достигнув зрелости, *Turritopsis Nutricula* может снова превращаться в молодую особь и способна повторять этот цикл бесконечно. Эти существа умирают, только если их съедят или убьют. По одной из гипотез, клетки в организме таких медуз трансформируются, преобразуясь из одного типа в другой.

Все пороги помыты.
Все пороки размыты.
Чистота и неве-
денье в нас.
На все помыслы мы то
тяжелы, то – как сито.
Скрыта даль в синеве,
словно в яблоке – Спас.

В заведенной шарманке
дней укрылись от слезки
за собой своих мы-
слей. Седых.
И хранит, словно ангел,
мокрый пол нас от спешки,
и падений без тьмы,
и немой суеты.

Меньше тела и смысла.
И слова – точно крылья
в пальцах детского ле-
пета. Нет.
Гладко так, словно смылся
след предательством былью,
пылью смолкнувших лет.
И душа – без примет.

Примет. Вымоет. Глядя.
Не моргая. Не ради.
Поступь – суммою по-
ступков. В нас.

Затихает. Ни пряди
паутины, в тетради –
ни строки. Вот и пот
смыт. И молвится: «Азь...»

Апрель 2004

* * *

И.Б.

Если только зима потому,
что Ты хочешь увидеть всю голую нашу
безлиственность, нервных поэтов безлистье,
больше неба в закрытых глазах, промеж пальцев деревьев,
если только зима потому, что Тебе нужен шелест не листьев, а губ

несвершаемый шепот; молчанье Твое, ни к кому
не направленное бесполезно, пока месяц мутную кашу
сапоги в неухоженных душами храмах, нас чистит и чистит,
словно дворник заброшенный двор до такой пустоты, что поверят
в то, что мы тоже были здесь, той же зимой, и тенями баюкали ясли, и скуп

свет небесной звезды был над нашими спинами, дул
ветер в новый пещерный шофар.
Если только зима потому,

доверяю Тебе вместо истин и слабых молитв мою ту,
несвершенную к тварям любовь, что Ты звал.
Доверяю Тебе. Доверяю Тебе. Одному.

Февраль 2010

М Е Т А Н И Я З В У К О В

* * *

Набравшись слов, как Демосфен камней,
пытаюсь быть точней. Но непослушен
язык. И недоступнее, умней
чужой проход по спутавшимся душам.

Сглотнув комок неразличимых си,
попробую до-петь. И между прочим
махну рукой бесцветному такси,
пусть отвезет в безадресное «очень».

Там обживают зеркала края
немые восклицательные знаки.
И видят «i» как «ай», и мыслят «я».
Так выгляжу в осуществленном мраке.

И вскину руки в направленье сна:
О ты, идущий вслед, идущий мимо,
неясен почерк твоего письма,
но мне знакома эта пантомима.

Бесклавишная судорога рук,
глаз, не обезображенный экраном,
и – Он, вокруг, Диктатор и Худрук,
бежит безумным рихтером по ранам.

Несросшимся, несбывшимся, чужим,
неважно что твоим, и на «иди ты»
швыряет прочь – туда, где мы дрожим
волной в предошущеньи Афродиты.

И ты еще напишешь, следопыт,
за здравие матерчатые строчки.
И шорох крыльев с топотом копыт
вмешаются, как прежде, в заморочки.

И губкой, злой и влажною, сотрем
нули пост-гутенберговского быта.
И пользуясь обратным словарем,
вернемся вновь к началу алфавита.

Февраль 2001

* * *

Красивое, ничего не значащее лицо.
«Questo é la mia faccia»¹ –
говорить не стоит в любом случае, даже если
ты смотришь рекламу зеркала из столицы Лацио,
зажигая свечи, поворачивая
ключ зажигания, заворачивая в месиво
городов – города – мест-а-а-а.
Потому что при быстрой езде
(какой не любит кто-то внутри
тебя) заметна только одна звезда,
которую видно везде,
поскольку ей не скажешь: «Гори».
Но толку мало – звезде – и той
нужны подробности и детали –
как ученику, разглядывающему на парте
древние иероглифы, пугающие простотой.
И глядя в красивое небо Италии,
говори, говори: «Но всё же, d'altra parte...»²
Так и будет, пока не появится Тот,
кто скажет «O sole mio»
на всех языках, которых никто не поймет.
Но не пройдет, о не пройдет, мимо.

Апрель 2001

¹ Это мое лицо (*итал.*)

² С другой стороны (*итал.*)

* * *

Опечатка звезды на чистейшем тексте неба.
Что-то есть во мне, подчиняющееся слепо,
пианиссимо ночи разрушив ударами степа

равномерного в грудь изнутри, той звезде – не той ли,
о которой писали, которую видели в стойле,
в стоге, в Боге, в любом (не)пристойном застолье

под конец – даже стоя – если речь идет о Востоке,
о востоке, восторге и будто похмелье в истоке
обезбрежной реки, непробудном и мутном потоке.

Просыпайся, мой друг. Уже ночь. Опечатка
звезды на чистейшем. Не будет задатка,
и не агнца ищи, а любви. Сеть души и сетчатка

обнаружат и скроют бесцельно, бессмысленно, опе-
чатка в тексте – найди, обратись к Пенелопе
за умением нить расплетать двадцать лет на одном автостопе.

Это все же звезда. Это все же не буква, не точка.
Этот степ обезличен, и ритм, и промокла сорочка
не от слез, не от пота... «Роди мне, родная, сыночка».

Я его воспитаю, спою баю-бай под наркозом,
он не будет уже удивлен, он проснется тверезым,
неприменно покинет – навстречу метаморфозам.

Поднеси же к губам серебристую ложку кагора.
Причашусь, притащусь, ни за что не спрошу: «Это скоро?»
Я умела читать, я не знала другого простора.

Так останься и небо листом, и звезда – негативом.
И рекою – все та же река с бесконечным отливом.
Будет пеньем молчанье. И ночь над звездой – мотивом.

Апрель 2001

волей-неволей принимают позу
подглядывания.

О, Санта Мария копра Минерва!

Старею, заподлицо

со всеми, кто не замечает занозу
звезды на небе.

И, словно зажатый пинцетом червяк нерва
в кабинете у стоматолога, замаячит
строка – что там в щелочке видно-то?

Рады вам – но не я.

Больше хочется подглядеть, чем увидеть. И значит,
прожить, и пальцы раздвинуты.

И зрочки расширены, будто дыры в хлебе.

Март 2001

В этом городе, полном обмана,
растекающемся, как вино
из вверх дном перевернутых чаш
синих гор,
мимо дома летит Иавнана¹,
словно пух тополиный. В окно
бьются выстрелов звуки. Пейзаж –
это хор.

В этом городе с именем лисьим,
заслонившим чужой горизонт,
где беззвучен, бессилён, бесцелен
блеск ножа,
я не знала ни улиц, ни писем,
разносящих озон и азот
по расщелинам мыслей. И зелень
не спеша

обнаруживала оттенки,
на какие способен лишь юг.
И, задумчив, наивен, немолод,
заслан взгляд
в эти мимо плывущие гренки
летних дней, как шпион и ашуг.

¹ Грузинская колыбельная.

И сочится зевающий город,
словно яд,
в мои вены, движения, раны.
Никуда за собой не зовет.
И ничто мне не больно, не странно.
Не разбавлю цикутою лед.
Струи сладкие Иавнана
не в мою бессонницу льет.

Июль 2003

* * *

По безусым юнцам, узнающим себя в колыбели
нерожденных детей, по монетам, без промаха в глаз
солнцу бьющим, по картам, которые снять не успели
с необстрелянных стен, по скале, где плывет верхолаз,

что форель в водопаде, по сверке часов, где Камчатка
только точка отчета за чет и нечет, по всему,
что тебя пропускает по миру и ловит сетчатка,
я узнаю в ответа отверстия полом, к чему.

Почему этот свет – если тот? Если тот – что же этот?
Что-то ухает сердцем, как филин, в отсутствии сов,
псов. Бессилен засов, хоть все силен. По тем, кто из веток
шьет шалаш, чтобы рай был не нужен, до тех берегов,

как заправский за-гонщик, пройдуся, словно слезы по трупам,
о которых недавно еще. По безусым юнцам...
И шепчу я в отверстие сжатых ладоней, как в рупор:
я не знаю Тебя. Понимаю. Да будешь... Ты Сам.

Сентябрь-октябрь 2004

N.N. – N.N.

Есть имена, которые надо забыть.
 Как пятно от лужи, которой
 свою территорию метит собака.
 Не превращая и быт в событ-
 -и-е, как соитие «скорой»
 с дорогой, где светофоров драка
 со светом идет вовсю.
 Как Курилы – Хонсю,
 скажем, или как курица – петуха,
 когда отда/еляются яйца,
 масло, и запах – шурупом в ноздри,
 дабы дать мозгу свой SOS. Труха
 выползает слезами, бояться
 жизни не нужно – возляжем возле.
 И неважно уже, кто кого
 забыл, выдумал, полюю... во...
 ...был ...был. Сбыт
 всего в ничего. Сыт
 ночью день, и в уме – никого,
 только сер... словно блю...
 ...дце в спирит...
 все болью шалит,
 и никак не складывается в «лю...»

Ноябрь 2004

Каждый год – гол
 в мои ворота.
 У рта –
 столько слов, оскопленных молчаньем.
 Скарб несу, и подол
 теребит все широты
 и высоты. Люта
 и смешна жизнь, облитая утренним чаем.
 Гол и бос
 каждый год.
 Он хозяин
 неслучившимся воспоминаньям, склероза
 вместо, и диких рос –
 одиночки метафор, и кот
 звука неразличимого, сам по себе, средь окраин
 все блуждает, и тело мое образует.
 Пусть будет – береза.
 Если вдоль – облака,
 а не руки,
 ухи
 из проваренной рыбы не знавшие, к счастью,
 перелившейся ка-
 ска-дом грянувшей в мире разрухи,
 за чужие грехи
 не отдавшей Его, уже данного Даром;
 и в час юрт,
 вигвамов, готических хра..., игл и ...скрёбов,
 если вдоль – облака,
 если – звук...

Сыне! Отче! Оба в
меня, в мыслях снявшую обувь,
вгляделись, как в букву?
Из вечных блокад
зову – к
ничему. Жизнь идет –
default – по умолчанию.
Каждый год.
И не чаю
уже различить, распознать, разделить, раз,
и рос
диких на подбородке земли, словно пот
от ночного наитья. Прирос
каждый год
к моей коже и роже.
Если б – звук.
Расскажи о воде и огне, и о рыбе, о Боже!
Святой Дух!

Ноябрь 2004

* * *

Облупленные стены Кабо-Верде.
И окна на решетках, как белье.
На вертеле разубежденных вер – та,
что отпоет пристанище мое.

Так руки, в океан нырнув белесым
подобьем водорослей, выткут ткань.
Так выгорит рожденный быть опоссум
и слогом перейдет в Тьмутаракань.

И черное, как чрево океана
с пре-красной рыбой, с равнодушьем, ра-
вно душам отлетевшим, рвано
принявшим свет, лицо. Как бога Ра

усмешка над никчемной пирамидой.
И как кровотечение детьми
из жен, не испытавших ни либидо,
ни бед любви растерзанной. Возьми

обратно плод свой, Ева наизнанку.
Так целое, что не способно часть
отдать, срывает кожу спозаранку,
чтоб ночью, ночью дать чужую масть.

Ни тени на лице, ни порта в каске
спеленатых волною барж и бирж.
И слышалось почти по-португальски
о чем бесшумно, ветер, говоришь.

Свободный от причала остров, кто там?
Здесь глухо и не пристают суда.
И по иным перебираясь нотам,
он взглянет, словно Он зашел сюда.

И пальмы, как раскинутые ноги
и пальцы, просто смотрят солнцу в пасть.
Сутулые на блюде осьминоги,
как смели дно предать и низко пасть?

Раздавшееся вширь и в голос тело,
сквозь строй гитар и барабанов сквозь.
Я только разбежалась, а взлетела
другая, смехом бросившая: «Брось!»

Отбросила. И отпустила вора
на веру – веры. Здравствуй, мое со...!
С каких небес, Cezarìa Evóga,
ты катишь мимо это колесо?

Ноябрь 2004

* * *

И вертится душа, как палец: те,
вот те оставить строчки напоказ
страницам, ветер рвется вон из глаз.
И Сильвия бежит, бежит к воде,
пока немой сиреной воеет газ.

Но нет страниц, которые могли
вытаскивать и тело из петли,
и душу в Дух, как в рану перст – перо
вложить, дав алфавитам за порог
любой перевалить, и альфа вит
кричит «Лови» омеге всех молитв.

Так вот в чем форма есть? И ты, Фома,
почел страницу за ладонь. С ума
нельзя сойти, но невозможно не
сойти, когда вкус крови льнет к десне.

Октябрь 2004

То ли крест, то ли плюс,
то ли полюс.
То ли шанс.
(Ужас
яви-катона – преимущество фона.)
Фотографией сна проявлюсь
там, где землю закрыл мегаполис,
и жас-
мин выдуман в чае-китае, и зевает меж
пальцев и мыслей мегаполис без неба.
(Вирус
парков культуры, обнаженной натуры.)
И в ус
ветер даже не дует. Кorteж
прорезает, как кровь по руке, слепо-
ватые краски дороги. И вкус
пропадает.
Аве, ню всех фасадов, и адов
пламень в окнах чужих.
Дай лет
тыщу, и Морт-он, и Ардов
принимает поэтов, в живых
не оставшихся. Так никогда
не приходит сантехник
и кровельщик. Дай
лет, и сгинут во мне города,
словно юность в сивилле.

И тех лик
сохранится, что отдали Рай
на свое растерзание. То ли
крест, то ли плюс,
то ли боли
вид нашла среди люстр,
ночников, тусклых лампочек бра.
И пытаюсь дожить до утра.

Февраль 2005

у русел ручьев русофильский наряд
 берез – как готовы к хазарам стоят.
 как воины в профиль предэрных веков.
 межпаузность в «стало» и «плотью», и то в
 лишь первом непереуеденном, до стран.
 акриды, что тезка его Иоанн,
 не морщась, но взглядом того муравья,
 который прополз вдоль реки до всея.
 и прочерки, почерки, точки-тире
 на этой готовой к хазарам коре.
 в сказуемом непредсказуемом, не-
 не подле лежащем, а там, в стороне,
 и разом, и сказом – в лесо-наповал.
 и пропасти пасть словно кто целовал,
 вцепившись в замоленный вышний провал,
 и Небо – что вечный Господний подвал.

Июль 2005

Чудо ли – чада Киева, дни
 столь же горьки, сколь светлы и далёки,
 не во что оку больше смотреть.
 Стелется шаг по углам простыни
 прошлых асфальтов в морщинах мороки,
 и отовсюду слышится «Геть».

Гетры берез и гекзаметров под
 крышей сползают на метры молчанья,
 в прорве ладоней – неба лицо.
 Образ подобен глядящему в рот
 врат, и прямой окруженье печалы,
 падает луч, как палец в кольцо.

Август 2005

Из устья лилась непотребная речь.
 И в пойме, как в пойле, проржа, и ни ржи
 над пропастью. Мне бы – да Небо стеречь,
 стервятник-язык кинул в морду: «Держи!»
 Я – вор, улепетьваю. Заплати –
 удержанных ужасом днями балласт.
 Я – лепет, воруя, не зная пути.
 И Бога, о Боже, я выдам! Не даст.
 Другими друзьями других, и сестер
 и братьев другими других, и мужей –
 дур-шла(к). Мне ни каши, ни масла – топор.
 На том берегу поджидает К@щей.
 Билингва, второй – немота, несудьба.
 Смотрите, любуйтесь – не станет за мной.
 На тот километр, за версту, у столба
 я лягу одна анонимной зимой.

Июль 2005

Слишком длинная очередь у врача.
 В ожидании Годо
 сижу, мерзнут ноги, и жизнь сгоряча
 меркнет. На Страшный Суд не спешит никто.
 Молча переговариваются в углах,
 сумки чихают мобильниками, но не
 у меня, и слышится «Вах»
 от господина, живущего вне.
 Ни у кого нет лиц, и лиц
 на них нет, тесно мыслям
 об ужине и «уже». Пились,
 бревно, на сучки – все глаза зависли.
 Чтобы избавиться от само-
 убийства, нужно идти к врачу.
 Самки, самцы, страхов Фудзи-яма,
 щелкнувшее «Не хочу».
 Ха-ха! Привет, соучастники судеб,
 чайники, выставленные за дверь.
 Что сказал, так не будет. Суть, хлеб,
 зрелища – и поди не верь,
 что не в этой троице. Ха-
 мы, вперед, прямо в рот
 открытой двери. За которой
 шустрит Иоанн и берет
 на себя белый снег, «скорой»
 проезд в белом тумане, халат
 с легкой примесью темноты тела. Бой,
 мужичок-с-ноготок, Дюймовочка над
 пролетают фанерой, как ангелы лет. Постой,
 паровоз, нелегко кобыле.

Сгоряча можно что-то понять про врача.
Археологи, выдержав паузу паузы, вырыли пуды были,
пути костей из горшков земли. Зуб, об зуб стуча,
забывает Око. О, как светло
на душе. И о-о-очередь медленно спит.
В мир с бесшумным грохотом входит зло.
Хо-хорош сей хор, сыт собой пиит.

И Он
беспощадно милостив.

Февраль 2005

* * *

Князь, зачем художникам мосты,
занавесь холстов, им – серый запах
рек, где все – хароны. Пальцы лодок

теребят клочки Его, из ты-
ла несется музыка молодок,
что взашей – веревкой, словно за дух,

за полночь хватает, и княжной
брезгует, как брызгает, мужик,
он среди чужих считает бревна.

Сцена, грешным делом, на ножной
крутится педали. Ветошь, лик,
что-то происходит, но – условно.

Князь, а здесь, как видно, ни души,
венетийской затхлости некстати.
Лондон льется из-под всех откосов.

Али Рюрик платит барыши?
Ни орды... И инок вспять... Без-братья...
Здесь – везде – не спит Мераб, философ.

Ноябрь 2005

* * *

Янеттебе янет Тебе из волчьих вотчин.
Миф лиц, тиф лиц, Тифлис персидской хватки, днесь
я здесь, яздесь азъесть, и голос не отточен,
и грифель языка пылит, любви не счесть
ни с дел, ни с тел, низ душ болтается над раем,
и их имен не знать, незнать не знать, незнать.
Вот так, без никого, бестактно умираем,
и не предупредить, крестом сходя на ять.

Каких там Анн, Иван, не вывести за скобки?
Какими рабби быть, чтоб новичком воздеть
шалаш дырявых рук? Разучены раскопки
речей. Гидон, до дна допотопного! Се плеть
небесная – она. Сей музыку араба,
гараж бескрышный, бес калиберных авто.
У либерти лицо нерусское – не баба.
Я проглочу Тебя. Не выследит никто.

Октябрь 2006

КРУГИ НАД ВОДОЙ

неужели бывают несеверные моря?
куда ни посмотришь – везде отражается что-то,
никак не увидишь главного.

запустить бумажный кораблик по ту
сторону, и узнать, что горизонт есть и у воды.

и засунув руку в карман, достает сигарету, горя
от высокой, любой, кто еще. И невидимый шлем пилота
опускается на сплав ново-

обращенной с водой, и, срывая с губ пустоту,
изменяется мир в неизвестную сторону. Ды-

хание предупреждает о рифме. Се-
вер, словно все вер-несущие лица в платках из хлопка,
дарит вымышленное первое

прозвище, лежбище, клад, куда
все еще едут forty-niners, чтобы найти все то,

что блестит, все еще едут все,
кто еще едет куда-то, все, кто на холоп и холопка
отзывается дружным нет, нерв тая,

как последний волос Самсон. И вода
наступает на берег, как пальцы на ноту до.

*

замолкаю... замолокомхожу –
первоначальным.
все еще не родилась.
да и как можно родиться снова в 37?
даже что-то писать уже стыдно. Шумит лес багряный, роняет на чай нам,
и режущей пальцы травинкой связь
выгибается над несказанным есмь. Совсем
первоначальным ша-
гом на гомон шуршащих
под крышами птиц.
пуповина болгается незарифмованной, строк
не хватает, и срок перешел, как душа,
среди прочих хлебующих вящих,
все разумные цифры, и блиц
время молча играет – выигрывает. Эпилог –
только форма других предисловий, замол-
каю, Каю под видом льдинки
раздавленной, снится она,
и никак не сложить эти буквы, эти стопы
звуков. И новый помол
мельче, больше, страшней, как блондинки
вымирающий вид, и война
незаметна – любая, как преданность Пенелопы
той ткани и нити, которую распускала. Ко
мне сон нейдет, как и бритва к руке, Ной
к горе. все еще не. и южные ве-
тры, как метры персидские, многослойны. и с тем
засыпаю, и море, и море дает молоко,
за которым идет, как за генной
инженерией хмурый Адам, как ладонь к голове,
рифма, рифма, банальная, дрянь. Тридцать семь
рифм...

Март 2006

* * *

Снимает Освальдо все листья с асфальта,
метла, как коса поутру
у дивы прекрасной в окне жизни частной,
как Гойи кисть, взрезав дыру,
метет с того света, в трамвай без билета,
как Борхес без книги, идет
почти Гауди, не создав в Аргентине
ни камня, природы налет
на каждом отрезке угла, и Франческе
сегодня не будет тепла
бессмысленной ночью: доверившись скотчу,
шотландец уснул, пастила
ему заменила, как юбку без тыла,
совсем не родной Честерфилд.
И лезет под юбку, лаская голубку,
голландка из местных, из дылд.
И кипа в витрине луной в магазине
на полуседой голове
темнит окруженье, как взгляд ожерелье,
и слышится тихим: «Ой, ве...»
Освальдо снимает перчатки и мает
нехрупкую черную вещь,
разрывистый фаллос, ко-му доставалось
войти в тело быстро, как лещ
в негромкую воду, как лещ в несвободу,
и черная сперма из чер-
ных дыр изливалась, как красная жалость
в нескромную полость вечор.
Франческа заснула навеки, и скұла
не дрогнула в мокрой руке.

Уэльс и шотландец продолжили танец
на чистом чужом чердаке.
И скромно, бездушно взирает на душ но-
вый, весь молчаливый, Господь.
Стирает Освальдо остатки асфальта
и трогает бывшую плоть.
Вода утекает, и крышею налит,
как водкой стакан, небосвод.
И взгляд разлетелся, как дни Парацельса,
которого любит народ.
Читает в трамвае все надписи с краю
почти Гауди, и за ним
слепой детектив на-блюдают, и дивно
экран пишет вечности: Fin.

Февраль 2006

* * *

Платит прадед одиночеством взгляда.
Мы смотрим в разные стороны.
Я не вижу себя с фотографии, и не хочу.
И обрубки деревьев торчат, инвалиды
с отобранными костылями веток. Надо
бы все это запомнить, но столько всего – сор оный
мешает продлиться любви, и в «чур»
не обнимаются пальцы, и не увиты
слезами щеки, и лада
нет ни в чем, не меняй положения, не звони, гор кроны
выше вершук любого самого, и, под стать палачу,
вырезают взгляд из тебя, словно контуры Атлантиды
из суши, но ты не возвращаешься к прадеду,
к катету, к кратеру прошлого – ряда
даже нет такого, порваны
все провода, тянущиеся чересчур
долго, и только платит он один, и кульбиты
дарит взгляду летняя муха, и, коверкая вздор, сонный
голос мой бормочет, как медсестра врачу,
зеркалу: «Не меняй...» «Не мешай...»
Будто мы, будто босы и сыты.

Август 2006

Если бы Гитлер постарел, со рта капало, да глаза не видели даже изподочков.
Извозчиков, по фамилии, думал, сидя на кухне с парой
носков в руке.
И все было бы совершенно верно.

В конце концов, жалеют же, и желают. Мы люди же?
«Или кто», – из щек, суров,
вырвался голос внутренний, без тембра, похож на впалый
лист вдалеке
осени. «Или кто» из Верма-

хта в это время втирал морщины в стекло законного мира в доме
для престарелых, в котором так хорошо кормили.
Как раз было мясо, да.
Извозчиков сплюнул, вытянул ноги.

В конце концов, все похоже на оперетту, если смотреть через поме-
сей лет и сует смазку. На жанр на вилле,
провинциальная профи, звезда
двух щелей на сцене, где скалы зла пологи.

В подмоге – загнутые концы креста и оторванный у звезды один,
и разницы никакой, как меж стиранными вкось носками.
Вот одену сейчас
и буду, как Тамправлящий балом, ха-ха.

И тут Извозчиков вышел наружу, и оказался совсем («грустим,
детка?») маленьким у подъезда, где сами

мы состояли из глаз,
ушей, ночных разговоров без грамма греха,

где валидомой мышли. И мыши бросались под ноги и в рассыпную,
если бы только знали, какую мы выбрали из десяти, какую.

*

Наплевать, наплевать, из каких фантазий
не состоит возраст,
кого никогда не увидишь, поскольку ядро
Земли и есть сумма мыслей об аде и тазик,
где вечно, бос, раст-
воряешь белье в порошке, и бросаешь про
тех, кто бросил, нелестный отзыв,
воруешь его у себя, как
ребенок, прячущийся в неудобно что.
Наплевать, ни уз, ни друзей, ни забывших брод, зов
знающих. Бяка,
побьем по щекам тетюядю, выходишь до.
Не-на-ви-жу, цедит погода, но, несомненно,
кажется это.
Там холодней, где тепло. Земля так мудра,
что опускает и допускать до развала гена
сможет без света,
который спускается без ядра.
Больше не напишу на юг, запад-восток и север, меток
нет, не о чем перед
сном, и все больше пустых
иллюминаторов от таблеток, выпавших в рот. Эдак
лет через ноль, верит
предок, увидимся. Гарантия – сей пустоты жмых.
Жмот и дождется, и дождь не осыплется. Напле-
вать, что за вами
никто не придет, и белье
высохнет, сморщится, плевратится в капли
для. Отчаянья даме
плесните, чтоб вымести глупые мысли ее.

*

Так пел на вышке умный часовой.
Ловил себя на мыслях, автомат
покачивал, и что-то в этой злой
но песне было верно. Невпопад.
И небо флибустьерским флагом вдаль
звало, и продолжало изменять
ему, такому умному, и гарь
окутывала лагерь, твою рать.

*

Бобби, кто-то собирается убить тебя,
сказал француз, покончивший самоубийством.
И он был прав.
Убийцы перед убийством совсем не сопят,
их братья и сестры мирно спят, и ничем не освистан
вид дубрав,
ставших городом неизвестно каким.
По равнине идет человек, который будет.
И он тоже прав.
Все остается грудам пустот, храним
фотоном, мчит бог солнца и крутит колеса, и кутит
с девами, не устав
от их бесконечно прекрасных тел,
которые тоже достанутся жадным и похотливым
червям, восстав
из пепла которые населяют миры. Воздел
руки, похожие на автоматы, человек оливам
на горе Сионской. И пошел направ...

*

С бусурманской чалмою, с босой ногою,
с бомбой в пазухе у стены

стоял нерадивый сын.
Бей его, бей всех времен и народов,
он сокрушитель не хуже тебя.
До летучей рыбы охоч.

Сорок ружей наставленных, и нагою
выходит девица, но сны
больше не снятся босым.
Пей его, пей его кровь, воеводо
отпрыск, гусяр, вурдалак. Любя
нас, над Синаем стущается ночь.

Январь 2007

Пожалуйста, догадайся, нежнее, еще, еще,
нет, иначе, нет, только к самому
не прикасайся – слишком сильно,
даже больно, а около, только около.

Слышу, как пут пустота выдает мне счет
за сказанное, но за несказанное, му-
чительно несказанное больше. Быль, но
давнишняя – колокол.

То есть я его слышала не только во время службы
в церквях, означенных севером, се-
верным ветром и небом, цветом севера, но
и если они звучали внутренним из-мотивом.

Посмотри, как из подушки выжимаю последний куш, был
бы он только кушаньем сна, а так... И все,
все занимались бы этим, если бы всем равно
было распределено. И выглядело красивым.

Путаюсь в словах, ударениях, не на то ставлю.
Ты вор, убийца, святой, гений, цыц,
мне одной известно, кто ты.
Длинные пальцы, язык, рвущийся напролом.

Тише, будь тише, а я закричу, устав. Лют
и светел момент превращения лиц
в никакое ничто. Возвращаясь с работы,
буду думать, что рядом с моим построили тебе дом.

Все равно язык разгонится, нагонит туч, нагоняй
получит от куч, и мерцающая, как больное
сердце, рифма, останется незатро.
Я хочу знать больше, чем знаю все, то есть считай
любить, читай бить, идя за Тем, Кого называю Тобюю,
думая, что идя, оставаясь за, нырнувшая, как ведро
в колодец, в потомство слов.
Знаю я, кто всегда готов.

И именно поэтому никому ничего не скажу,
и подумаю, что тем самым дам кому-то
что-то понять. Никто не возьмет!
Погода, одетая в Дольче Гавана, разгуливает по побережью, жу-
равль по небу летит, рав говорит: с тебя минута,
секу секунды, знаю наперед,
что впереди – что позади, вверху – внизу,
что поперек, рисую риск: строку длиной в лозу.

И дольче века длится. Длится. Длится!
Учитель, говорю, мне здесь не место.
Мне здесь не место, говорю.
Не здесь мне. Спи, художник. Это спица,
а не строка, и вяжет, вяжет, а не Веста
прядет, верстает ритм, твою зарю,
коло... колодец, а не ко,
отсюда близко, значит далеко.

«Чтобы не видеть гор, из-за которых не видно неба, надо подняться на гору», –
молодой человек улыбнулся и отодвинул блюдце.
За квадратным прямоугольником стекла не торопились. Шли без (ликбез
скорости). Мы сидели прямо напротив вида, приходящегося в пору
любому городу, если не знать, что это за город. Разуться
и идти бы, разнузданную погоду обогащая развешенностью словес.

Понимаешь, мне нужна плоскость, где невидима вертикаль,
потому никогда не смогу взобраться на гору. Ползти по
стене, прямым углом к небу, я сама вместо стены. Пусть

будет так. Я встану на самой вершине плоскости, сталь
ее листа прочтет меня буквой. Закрою глаза, прошепчу «спасибо».
И еще – не вернусь. Не знаю куда и зачем, но не вернусь. Больше не вернусь.

Март 2007

* * *

И.Б.

Это дикий каприз Парфенона –
видеть в дереве ствол, челове-
тки растят и растут, око сонно,
незатейливо – тень по Неве.

Вот проплыли Кирилл и Мефодий,
из мелодий чужих языков
тки, отросток, лозу, у просодий
отнимай свое право на лов.

Здесь лица различить не подумай –
только пой, надевая талит.
И обозначишь неназванной суммой
звуков прежнюю плеть. Говорит,

говорит еще каждое слово.
Каждым белым пятном. Поутру
Око в оба глядит на любого,
начищая в пейзаже дыру.

Словно паузы в джазе. Как джезва,
нота виснет над грамотой. Дочь
подрастает. И линией жезла
режет луч оба света и прочь

гонит всякого, ставшего рядом.
Незаметен, нечеток, не тот.
И душа пробирается садом,
по колену в пустыню ведет.

24.05.2007

Никакого вечера не надо,
никакого утреннего сна.
Прикоснись ко мне из Ленинграда,
ненавижу этот город на

невесть что разлившемся и сером,
с санками изгрызенных костей,
в телогрейках зданий, облысел он,
старый Буратин-Адмиралтей.

Нечего тут плакаться у нищих,
подадут, накормят, отберут.
На высоких выпранных кладбищах
сушит облака небесный люд.

Он минует улиц и проспектов
блажь и стройным рядом выйдет вон.
И, в минуте, сзади ходит некто в
белом, к ним приставлен, утомлен

ежедневным молчаливым ходом.
«Ненавижу, – он цедит сквозь сон, –
черт ему название». Да вот он,
Петр, сидит и думает: «У зон

есть свои зонты и горизонты.
Назван, прозван, созван, как ни считавай,
– поезда, скелеты, звон дыр». Петр
встает, и падают ключи.

Июнь 2007

Он никогда не станет писателем,
потому что не умеет произносить звук «the».
И не хочет носить скобу.
И не жалуется на судьбу.

От его мыслей взрывается целый мир,
но никто не слышит, зовут домой,
и он идет, опустив голову и распрямив плечи.
Где бы ни был, он говорит на чужом наречье.

Флаг страны I от ветра падает в сумку, в которой вещи
вряд ли будут нужны в новостях необжитых.
От скобы больно, но без нее
выпадут звуки, как из будущего человека – жилье.

«Э-э», – говорит он, может, имея в виду «А».
Но язык приставлен, как дуло, к его голове,
и он хорошо разбирается лишь в одной
определенности. И уходит в нее с головой.

В воскресный день автобусы прогуливаются, а не едут.
Спина липнет к одежде, одежда к спинке.
Он проехал мимо развалин, строек, пройдиэтажек и газовых камер,
сошел в середине пути, закурил сигарету и просто замер.

Слишком медленно все происходит, слишком быстро.
Встречаются те же люди в других обличьях.
День тяжелый, летний, катится, как канистра
без присмотра. Пудрит ноздри запах наспех сожженных спичек.

Он не знает, что он подросток или старик.
Он глотает пот и смотрит по сторонам.
Мир выравнивается по губам, шлепнувшем «ик»
и выстреливающим плевком. Никто не заметил, даже он сам.

«Так происходит с каждым, кто хочет писать стихи, –
училка наконец поворачивается к классу лицом. –
Сначала исчезает рифма, затем ритм, за ним...» Но хи-
трые дети не видят у ней ни глаз, ни ушей, ни рта. И Дух совсем невесом.

Июнь 2007

Из цикла
ИЗРАИЛЬ, ВИД СНАРУЖИ.
МОТОК ДОРОГ

I

Даже не хочется спать, настолько хочется спать.
Откроем море, возьмем ладони –
дотронуться. Дороги всё уже,
но шире, чем мысль о душе. Пардес –
апельсиновый (ивр.), Paradise (англ.).

Налево-направо апельсиновые рощи, есть легенда, рать
крестоносцев впервые узнала про золотые яблоки. В доме
я бы хотела иметь билеты во все концы. Мужа
встречать в полусвете. Улыбаться плачу. В лес
можно ходить, если только есть море. И за спиною – ангел.

10 минут пути, и апельсины не могут расти,
уступают виноградникам, оливам, миндалю.
Храм. Построен – разрушен – построен –
разрушен – построен – разрушен.
Какой религии, вы сказали? А-а, мы

в курсе. Во вкусе. В воле валюты. К шести
быть готовой? (Интересно, успеваю «люблю»
сказать в нужное время – всегда?) Строен
вид деревьев. Скучен воздух и скучен говор душам,
втиснутым, как отравы, в тела отвергнутых, из зеленой чумы

(название дал возмутительно чудный господин)
не выбраться. Кто не с нами. Зависло из темноты
лезвие полумесяца над мечтой мечети, и звезда, точка переговоров.
Нет, это точно не для чужих.
Вот здесь Иешуа Навин остановил солнце. Долина

¹ Случай закрытия (проходя практику), *англ.*

Аялон. Проезжаем мимо. Сражались, сражались, как один,
все за то, чтобы против. «Да будешь Ты
ни за, ни против нас» (Бар-Кохба). На ул. Арлозоров,
Гилель, Ибн-Гвириоль подберем еще жмых.
Алло? Все хорошо? Мы поднимаемся. Мы поднимаемся. Мы, прах и глина.

II

Хочу любви, настолько, что не уверена, что хочу любви.
Через 18 минут тесто скисает.
Нет времени выпустить из
себя желания. Это ты,
говорю, это ты, земля-вода-воздух, имя рек, чело век, море-земля.
Песок интереснее дерева. Саммит
заботится о нерешении ни одного вопроса. Карниз
дальше неба, поскольку лишен высоты.
О чем говорю, себя укоряя и для?

Выключить радио, телевизор, мотор, дороги, мосты.
Вложить беруши, надеть очки, выдумать. Всё.
По мне такие сновидения разгуливают, что не сразу
вспоминаю, где просыпаюсь. 10 минут –
совсем другая. И так – 400 с небольшим
километров. Надо выравнять горы, на вырост и
на память брать одежду, замоченную в реке. Басё
тоже писал про батат? Записываю. Это танки, нет? Раз у
дверей стояла, два – не стучала, три – повернулась. Танки? И тут
считалочка, просто счит... Просто скопище старых машин.

Старых в том смысле, что в будущем их не будет.
Совсем, только круги. Только ракеты.
Видимо, минареты, мин ар, это и есть
наше светлое, младое, незнакомое. Леса
возрождаются, несколько миллионов за год.

(Если, конечно, опять не сжигают). Суть бед
в том, что они неизбежны, как соль планеты,
делающей вдох-выдох. Днесь
забыла, что было со мною за.
Шла, как шел и не плакал Лот.

Лод – родина Св.Георгия. И его могила там же. Какое
имею к ним отношение? Родина
разделяется на участки
(порою грядки) и участь на них. Что-то давно никого не читала.
Ни-ко-го. Зря разучилась музыке. Зря.
Что еще, говорит пианист, играя аксельбрандо, воя
себе под нос, думая, что свободен. На
нем была бабочка, она улетела. В час кит
ночи глотает по тысяче – навсегда. Нет, кажется, мало.
Бред! Еду, не зная, ку... кареку. Шелухой соря.

III

Принимать все за чистую монету,
облитуя серебром, золотом, лавром,
лавром, золотом, серебром.
Подбрасывать кверху и успевать.
Всечтосказанопотелевизорурадиовгазете –
чистая правда. Если только кануло в Лету,
если только выключить, выйти, встав ром-
бом с тенью своей к северу-югу, закончить добром
слов сказанных/несказанных рай,
и ложиться спать при включенном на улице свете.

Спать, принимать, слушать, верить, ноги
вонзив в Иордан, взгляд – в цаплю,
как тап в балерину, руки в боки,
язык в финиковый мед, который ели,
тело – в воздух. Это и есть жизнь. Жизнь есть.

Если ели, как две тысячи лет, как Та в дороге,
как эти в пути, так ли? Так и хочется говорить «люблю», тик-так-лю...
На каплю объектив устремив – на листе, темнящем все истоки,
стоки, токи, завершить на вершине ели
звездой очередную новую эру – нагая весть.

Принимать все как есть. Как ели. Как будут.
Чистой монетой расплачиваться, подбросив
и успевая, и верить. Плавая по Галилее,
автобус выскальзывает на шоссе.
(Теперь по правую сторону – посмотрите – Тавор).
Нет, не загадаешь судьбу тут.
Не проведешь никого – только линию вверх. Осень в
мире всего лишь значит, что стал сильнее
не мир, глянешь вокруг – здесь все,
здесь все собрались, и потому не с кем вести разговор.

V

Шмуэль помазал Шауля, потом Давида.
Теперь над ним минарет – издержка вида,
если ты на Востоке, теперь не только.
Крыша каждого дома – любому койка.
Все продумано издревле. Ходит гойка
за свекровью, камнями сна увита.

Странноприимный дом направо-налево.
Здесь торговые улицы, ветки древа,
некогда давшего жизнь голубой маслине,
давшей елей потомкам, они ей – имя,
даже к отцу обращаешься просто: Сыне,
слой защищает сосна, как пещеру – Дева.

Мы в пещере, точней, в наизнанку пещере.
С непокрытыми мыслями, сыны, дочери,
солнце, небо, пустыня, деревьев свитки.

Слитки почвы, тропы трещин, избытки
притяженья. Ржавеющие «давидки»
разве что втянут в себя помидоры шерри.

Слышишь? Я буду здесь. Я здесь точно буду.
Все оставлю и выйду. Прости паскуду.
Месяц выдаст дней своих тридцать. Ровно.
Крикну победной/прощальной ми-дией Овна.
И убегу в кусты, слыша «Ты готов на...»
И нырну в неразутых молчаний груды.

Мидией лопаю море из круглой миски.
Сбоку вода хранит отраженья низкий
привкус. Герань притворяется сикаморой.
Есть разговор, но он сплыл. Здесь мотор, который
выдержит лодку в 12 гребцов? Уморой
ужин у моря вам кажется? Ешьте, киски.

VII

Римляне никогда не вырастят афарсемон.
Только посадят, выпорют сорняки,
но сначала придумают сорняки. Симон
пока еще не родился, но плавники

давно воспарили. Юг. «Цафон»¹, –
голосует девочка в солдатском прики-
де, с рюкзаком, похожа на сон
мальчика – в той стороне ему вспорют виски.

Он упрется в землю лицом. Он
станет рельефом. «Мы были с тобой близки».
Кровь отдаст и не выдаст афарсемон.
Красные, красные лягут на тело мазки.

Мы надели маски, сколько лет, сколько зим.
 Мы крестились, приняли гиюр, и гиюр наших шкур
 становился похожим на асфальт. Слышим звон: лишь вся
 королевская рать собралась. Храним,
 вопрос повис в воздухе, как оборванный шнур
 телефона, по которому не дозвонишься.
 Завтра выиграю ли битву? Окстись, Саул.
 Даниил тебя ждет. И к Давиду идет археолог.
 Ионатан, здесь язычники, вопиет никто.
 И к нему приходят с вещами. И караул
 отдает свою честь, и путь недолог.
 Подлежа огласке, здесь мы ходим. Перекресток... как его... Мегиддо².

Надо смотреть под ноги, чтоб не смотреть на небо.
 Теперь ступени выровняли, не в храм.
 Я видела столько раз это во сне, бо
 во сне все явственней, и магнит давал волю рукам.

Прикоснуться. Все слишком гладко. Мрамор. Лампады.
 Лучше бы – просто пещера, камень, скала.
 У Стены прорываются свитые ветки, рады
 птицы вить гнезда, чирикать о вести – была.

Мы поднимаемся. Мы, от чумы свободны,
 не прикасаемся, мы поднимаемся, мы.
 Сколько асфальта. Бьет по спине холодный
 грек, священник, и век, мошенник, займы

данный, выданный, выставленный, приставлен,
 не отвален, как камень, уже пора.
 Мы выходили, и слышали грохот ставен
 в тех домах, где гостили не мы вчера.

семь бед бедуина:
 школа, не все, садящиеся на осла,
 плохо заваренный кофе, картина
 чужих городов, азбука, понесла
 опять жена, да холма нет рядом.
 И остальные, не достаивающие взглядом.

Бедуин обнял крест и стоял
 в Иудейской пустыне, на фото
 (небо – фон), обнажив силуэт.
 Монастырь пустовал: было много
 в нем людей, разговоров, свечей.
 Километр был мал,
 чтобы дальше спускаться, забота:
 не отстать от группы, которой нет,
 по сути, в пустыне. Но есть дорога.
 И по ней не спрашивают: «Чей?»

Стоит привязанная белая ослица,
 уставив в никуда свой взгляд без лени,
 пустыни Иудейской посреди,
 единственное дерево. Сосна?
 И думает, как с мысли бы не сбиться,
 как деградировало нынче поколение,
 и нет Того, Кто сел бы на пути,
 несла ж Его праматери спина.
 Сейчас у ней другой хозяин, зол,
 когда никто не видит, и сейчас
 она всего лишь мерзкое такси.
 Сто шекелей. А может быть, осел
 был – не смотрела, некогда, как раз
 шел бедуин, держа песок в горсти.

XII

Мы почти достигли любой перспективы,
потому сужаются путь-дорожки.
Вынимаешь косточки, и оливы
шелестят, и тянутся прихожане к ложке.

Это тайна Вечери. Над могилой Давидовой.
На горе Сион, что и нынче еси.
Ой, ты веси вечные, мы зайдем, и вида вой:
фото-камер-стон – так естественен, что Прости.

Как зажгу свечу. Как найму платок
да на голову, да как водится.
Расписной мой пол. Сонный потолок.
Спит любовь Его, Богородица.

XIII. Вдали от Ципори

Ципорийская Мона Лиза
впивается в воздух всеми своими осколками.
В столице античной мозаики
тот же диагноз: температура сорок.
Ты стоишь над городом, всем телом к нему прижат.

Как к теленку Рабби Иегуда А-Наси,
прости, пожалей всех, у кого доля в будущем мире есть.

По дороге из Назарета в Акко птица поет родителям из-за
вершины. На твоей бывшей родине играли фолк, Ами-
ран приносил огонь, театры затмевали небо, березы вязали ки-
лометры белизны, монмартры встречали скорых
на любовь, пустыни йеменские не знали жатв.

Это была одна бывшая родина. А сейчас и
всегда приветствуемый развалинами, ты остаешься здесь.

Доля будущего мира есть везде, и
ты остаешься, как первый данный залог,
в любых развалинах можно найти Еврейский квартал
по ямам. По ямам, где были миквы. Найти
любую воду. И погрузиться.

Чем глубже яма, тем больше имя.
Чем тише голос, тем слышней Аллилуйя.

Из всех изделий
ты выбираешь развалины города, как и Тот, Кто мог
иметь сто имен, сто миллионов имен, выбрал тебя. Пар дал
воде, а вода остается здесь, кентавры, ти-
таны, влюбленные в Мону Лизу, прячут лица

в мозаике синагог. Их не увидеть. Другими
стали любые лица. И не прозреешь, мысленно их рисуя.

Из всех рисунков
точно различишь неизвестного
художника, чьи ямы
больше воды, но вода
остается. Потому что никогда нет дороги назад.

Ципори состоит из осколков, в которых
видишь, как Рабби учеников, какой был город, какой.

Ночью лунка, в
которую попадает взгляд, держит честь ново-
испеченного. Не смотри наверх, окаянны
дни твои, проведенные никогда
не вместе с Тем, Кто их дал тебе. Наступает шабат.

Здесь, в переписанных твердой рукою Торах,
остаешься, и не нисходит Великий покой.

Да, именно здесь. И сверху кровило бы Иудино дерево.
 Что может быть слаще этих красных капель?
 Пахло акацией, в память и о Ковчеге.
 Кривила душой, когда говорила. Вечер синий делит во
 веки вечные разные наклоны. Скрывала бы чужой никаб ель,
 наряженная вовсю весною. И мысли о чеке,
 выданном за прожитое, не возникали.
 Он не купец. Его не ограбишь.
 Хотя заплатить придется.
 Первородства не ощущаешь, но те ли дали
 привидятся приходящим к другим? Раб лишь
 ответит. Из глубины колодца
 достанешь все звезды. Именно здесь.
 Все двенадцать туннелей. Весь свет.
 И море, и Мориа – чтобы не сойти с ума.
 Поднимусь. Умоюсь. Вечер какой! Восток сохраняет честь
 незнания о себе. И меня здесь нет.
 Ты примешь меня именно здесь, Мать сыра Земля, Има Адама³.

*

Чтобы слышали многие,
 надо говорить среди малых.

Март-апрель 2007

18 минут – сакральное для иудаизма временное расстояние. Считается, что тесто скисает за этот период и на Песах надо приготовить мацу в течение сего промежутка, и свечи зажигают за 18 минут до захода солнца и т.д.

«Давидки» – самодельные минометы конца 40-х годов, изобретенные во время Войны за независимость, производящие больше шума, чем выстрелов. Сейчас музейные экспонаты.

Ступени в Храм Соломона были разные, чтобы человек смотрел под ноги, а не в небо, иначе говоря, не возгордился.

Ципори – древний город Израиля, где один период мирно жили римляне и евреи, переводится как «птица», «поскольку сидел на вершине горы как птица», Вавилонский Талмуд (Мегила, ба). Был столицей Галилеи, сохранена римская мозаика, именно там евреям строго запретили посещать театры. В Ципори, по преданию, жили Иоаким и Анна. Рабби Иегуда А-Наси родился в день казни Рабби Акивы, столь почитаем, что в Талмуде «Рабби» – его собственное имя. Всю жизнь болел, считал, что расплачивается за свой поступок, когда не пожалел подбежавшего к нему теленка, которого вели на заклание.

В дословном переводе с иврита «я еду в Иерусалим», «я уезжаю из Иерусалима», а за пределами Израиля «еду в Израиль», «уезжаю из Израиля» фразы звучат, соответственно, как «я поднимаюсь...» и «я спускаюсь...» Для глагола «ехать» существует другое слово.

¹ «Север» (*ивр.*), одновременно означает и направление на север.

² Место в Галилее, северо-востоке Израиля. Хар Мегиддо (*ивр.*) – гора Мегиддо. По-гречески – Армагеддон.

³ Мать Земля (*ивр.*)

*Лишь бы разрешили мне взамен
под фонарем стоять вдвоем.*

Из «Лили Марлен». Перевод И. Бродского

Только мысль о тебе помогала заснуть
и мешала проспять целый день,
будь, шептала в чьи-то руки, будь, муть, суть,
любые рифмы, но с тобой, к тебе. Темь
и темя суток обвивало голову, впивалось в виски,
все, как обычно, чему не приходится удивляться.
Молния окна мелькнула на стене, вечер снял носки
и прошелся босиком по асфальту. Парно. Блядства
лишенные, эти шаги напоминали о том, что не смогу,
никогда не смогу, никогда, червяки
таблеток ныряли в гортань, на моем веку
слишком много минуло мин, чтобы быть с тобой. Далёки
и прекрасны моря, в которые не нырнуть.
Будь, говорила в чужую судьбу, будь, грудь,
точнее, груди тифлисских бань неотвратимо
пахли серой. Мужчины тоже идут на запах. И мимо
дня пролетала кукушка и пела
про чужую душу и чужое тело.

Подливаю масло. Накрываю крышкой.
Закрываюсь крошкой. Закипело.
Жаль, что уже не смогу напиться
никакой воды, никакого вина, никакой спе.
Спелого неба – нет. Не мое это дело.

Я стою у Земли босиком, подмышкой,
кажется, книжка. И бить за
язык коло-колол не хочу. Гуляю сама по себе.
Он молчит, глядя на ту,
которой во мне нет. И это значит, что не войду.
Только мысль о тебе.

Июнь 2007

Нет, я так и не смогла узнать никого, хотя они
носили лицо, одежды кож(а)ные, обувь.
Я даже знала, что имена могут быть такими.

Заложница собственных узнаваний, не считала ни
дни, ни часы, но строки по пальцам. Оба в
белом входили ко мне в сны и говорили с другими. Кинь, и

развалится белый снег, как зима и лето.
Мальчик засмотрится вверх, ковыряясь в зубьях
забора. Девочка выйдет вон, и натянет лук.

Стрела, как всегда, не полетит, и даже лето-
писец не уточнит, куда не полетит. Здесь, груб, як
властитель, входит сюжет, который лох и стук

в дверь принимает за стук. Кто там?
Спрашивается, но кинь, и выпадет тройка,
и всхлипнет отличница, запираясь на сто

одеял, но все-таки кинь. И кивни проходящему. Гротом
идти, и еще не раз заставить. Настойка
из нимф и сатиров не раз пригодится. Никто

ее не опровергнет присутствием. Никаким.
Кинь, пока я тебя не назвала, не облачила и не.
Все равно этой скатерти нет ни в одной стране.

Все равно запишусь на прием. Выйдет Иоаким
и позовет: Анна, Анна, и выйду вон, потому что тройне
скоро быть им троим. Постелю. Закроюсь. И буду смотреть извне.

Июнь 2007

Купол взрывается черными точками птиц,
отвратительными, как комки грязи на росписи,
и оказывается белым.

Как только подходишь ближе, видишь свой Аустерлиц:
это мечеть, давно мечеть, и город, в котором рос, пасти
будет других овец, хоть в целом

изменился только его фасад, размер,
черты и количество женщин, детей, нужно идти вверх, нести
взгляд над брусчаткой, как сумку с камнями.
С другой стороны, что с того, как выглядят воры вер,
их наряд, меняющий сто покровов, лежит на поверхности
Его белых ладоней, и Он знает, что будет с нами.

Мы, окрашены в красный цвет заката, глядим в океан,
красный цвет проникает внутрь, вырастает в шалости
медицины и оказывается белым.

Все цвета белы, и купол всего лишь тот чистоган,
который отдан за отрока нам, Он вопрошал, прости,
Отче, Тебя: «Лама...» Но молчания парабеллум

до сих пор стреляет без пуль и без промаха, мы
не знаем, что именно сей разговор и останется,
перебравшись сгустком литер
за сто веков во веки. И войдем в ворота вязкие, как хурмы
привкус, шастающий по базарам Самарры, где поджидает странница,
словно свой послушный народ только что избранный им лидер.

Июль 2007

И.Б.

Вырванная выровненная страница.
На этом поле растет безвременник,
красивые розовые цветы, райской нежности,
как только прикоснешься губами – убьет.

Это яд.

Так говорят.

Я верю и раскрываю губы, и вот
наступает мое бессмертье, промеж оси,
именуемой вслух туннелем, то ли ремень (их
не разберешь, как выглядят) собирается виться,

то ли змея извиваться. Лоза это или доза?
Подслушанные истории по миру нежатся,
ложатся, как пациенты, в стишки, в рассказы,
их раздевают и препарируют, только так
им дана своя ось.

Так повелось,
и теперь остается выкладывать жизнь в котах,
именуемых сти... гуляющими, как узики
по пустыне, без цели, услышав гул, буквы-беженцы
падают и беззвучно раскрывают задолго до за.

Ты думаешь, говорю, это бред на
брошенном желтом песке, забытом ступнями?
Стук молотка у плотника, вызывающий
будущий ритм архитектуры, от нечистот
из окна

так полна

Земля, что хочется выйти вон. Но вот
змея кусает свой хвост, образуется круг, и знаю, с чьих
рук не кормлюсь, и, груб с нами,
ремни мы, зарывается звук на долгие-долгие, на.

Июль 2007

Ветер нынче такой в июле,
что не кажется сон совой.
Пролетаю над миром – Твой,
опираясь спиной на пули.
Нарастающий гул мостовой.

От колес разошлись круги
под глазами у ангелов спящих.
Город выгородит говорящих,
и влетит в него, не с Руки
ли, ночь-четки, ночь-черный ящик.

Вот чем улицы мощены!
Вот чем немощны эти лица.
Я хотела с дороги сбиться,
но кормиться с чужой мощны?
Букв лохмотья – моя крупица.

Ветер в руки пригнал журавлей,
перебитые серые перья,
словно дар, дал Свое недоверье.
Записать бы на слух, но сильнее –
записаться зимой в деревья.

Ни креста тебе, ни звезды,
путеводная вязь алфавита.
Город – род – несусвет, я квита.
На столе тарелки пусты,
стены выдадут фаворита.

Вот иди соблюдай обряд,
что хаббадник в Твою субботу,
новомесячий гулкий ряд
на одно лицо, позолоту
отражений скинет парад

непригодных для жи планет.
Через И мне с Тобой шептаться –
на язык пал Сыновний след,
принимай за бред святотатства,
что не свет говорю, что нет.

Шум, как будто за мною филин
увязался и шлет козу,
и урчит, и молчит, бессилен,
амалфейский стоглазый Вильям.
Что за тексты горят внизу?

То дома, отвечает, то
люди смотрят сюда без веры.
Заручилась бы бегством до
того, как найдут браконьеры.
Филин сбит и храпит. Зато

всыплют мне по икс-икс число.
Что мне будет, июль, за ветер?
Чтобы звуки все разнесло,
как паромщик – волну, весло.
Пули в крыльях. И Сын заметил.

Июль 2007

* * *

Ему было столько лет, что ей казалось: она молода.
Что все еще есть любовь, в которой нет страха, совести и стыда.
«Кто до нас так гас?» – шутила она, держа сигарету у рта,
он держал у глаз ладонь и думал, что пустота.

«Грех не пожертвовать рифмами, если сказать нечего», – не говорил он.
Она все еще поднимала мысленно буквы, как бокалы, салон
любой красоты (слова в том числе) не посещала ни разу. Тон
занижала только при виде чистого неба, склоняющегося в небосклон.

«У варева, как у варвара, дряхлый вид сожженных вилок», –
мысленно ложкой мешая суп, отвечала. Но он забыл,
что тоже что-то нужно сказать взамен, и стыл
суп, который был за платой, за платой скрывающий тыл.

А может, искусство и создано из-за тупика?
Единственный выход – уйти, желательно наверняка.
Они потом еще долго смотрели за облака
с разных сторон полушария, если не больше, кашляя от табака.

Июнь 2007

*«FIRST CLOWN. Give me leave. Here lies the water; good: here stands the man; good: if the man go to this water, and drown himself, it is, will he, nill he, he goes; mark you that? but if the water come to him, and drown him, he drowns not himself: argal, he that is not guilty of his own death shortens not his own life».*¹

William Shakespeare, «Hamlet», Act Five

I

Прочистить глаза, в уголках – бредни, я так называю слезы с тушью, она ах, как была смешлива, затем зубы, как бы если бы с кем-то можно еще целоваться.

В руках сумки, в ногах – круги наводнения, по колено в воде, по голову в делах, окно распахнуто прямо в Темзу. Проекторы освещают, как кинолента правду не-жизни, братство

людей на велосипедах глубокой ночью, когда двери придавлены мешками, как мыслями миссисы, вышедшие без мужчин в открытую воду. Прочистить глаза – вот главное, когда

вода поднимается до самого горла, воочию убеждаясь, что есть еще люди. А сами люди выходят прочь, как из них интерес ко всему, что не знает броду. Она понимает и погибает, как если бы не сказала да.

II

Великобритания перемещается на крыши, крыши, свободные от ворон, населяющих замки, аббатство убеждается, что Он есть и выше, и бас архиепископа – может быть, баритон – произносит молитву, как если бы было с Кем целоваться.

III

Я люблю тебя, Англия. Больше, чем любит тебя вода, чем рыбы, которые застревают в сетях, ангелы, раздающиеся в люди, не бумеранг ли я, если возвращаюсь в смытые города и бросаю тени на ставни, взмах облаков приравнен к дождю. Бледна у порога погода, серое вещество средневековых крепостей вызывает приступ вымысла, сей мир зашел за тобой, Англия, во времена, в которые только петь: Take me now.

IV

Хорошо бы смыться из империи, жаль, что империи нет – некуда больше смываться. Брюки посреди чемоданов смотрятся на человеке, как лист на Адаме. Верю и доверяю, веку, да, закрытому так, как могут только руки суки, которую любит любимый, он, да, но в ней есть что-то меньшее. East

темнит твои строки, улицы, потусторонний
отсвет медленно заполняет сумрак,
полонит, как гортанное эхо в сурах,
жесты. И вода твердеет в зрачках, что цирконий,
уже не нашептывая: aboard, aboard,
for shame! Но ровно наоборот.

V

Прочисть глаза и дом открой,
проспи и непогоду,
и смерть, и выдай с головой
обрушенную воду.

Что clown, он похож своим
запачканным костюмом
на парус, выданный двоим,
но выкрученный трюмом.

Теперь ему не посадить
на плечи путный ветер.
И не доплыть, расправив прыть
до бьющей Спину плети.

Ни чьих советов, ни души,
разброд бредет в округе.
Лежит, не лжет, карандаши
ея точны, упруги.

Се капли, хорошо, вот здесь
был человек, ребро, и лето
еще не изгнано, и весть
не отдана и не отпета.

Змеится суша, меж листвы
ткнут прутья пауки,

несут столупые волхвы
шаги из-под реки.

Река хитра, река чиста,
она допустит всех.
И роет яму неспроста
заядлый дровосек.

Он держит саженец в руке,
пока видна земля,
потом увидят вдалеке
чужие тополя.

Если вода не идет к тебе –
ты приходи к воде.
И не поставит тебе «НБ»
Сам в дневнике, в нигде.

Июль 2007

¹ «Первый могильщик. Погоди. Вот здесь тебе вода; хорошо; вот здесь тебе человек; хорошо; ежели человек идет к этой воде и топится, то хочет не хочет, а он идет; заметь себе это; но ежели вода идет к нему и топит его, то он не топится; отсюда эрго: кто неповинен в своей смерти, тот своей жизни не сокращает» (пер. М. Лозинского).

Замечательный день для начала осенних каникул,
для калигул и гула, обутого в ноги и губ
предварительный пепел. И пела, и пела в руках

букву «р» чистокровка-синица, никто не окликнул
ни певичку, ни пенью. Рюкзак, обезноженный круп,
на спине чуть подскакивал, детский оттягивал страх.

Перерыв, рвы да рвота неведомых дому развалин.
Вот ступеньки, доска, слабоумной тетрадки прикид.
Кулаки полупарт-полустульев. Садись, пока есть

перерыв. Но никто не окликнет потом. И разварен
до мельчайших отрав фаршированный полдень, забит
рюкзаками, руками и люками знаний. Отвесь

мне, Создатель, немного холодного пота и лета.
Буду взвешена, буду легка, не чека, не чета
неподъемному пеплу. Из перьев, из пенья, из сил

рвется дикий журавль и дырявит ладонь неба, спето
уравнение эвклидово, встроено в клетки щита,
на котором Ты цифры, как лица Свои, уместил.

Июль-август 2007

Она купила шампунь для сухих
и поврежденных волос.
В старости все волосы можно считать
поврежденными.

Неужели я
буду дрожать, кричать, умолять, в кровать
впиваться скрюченными пальцами, ах, врос
ноготь, бо-о-ольно, еще по лестнице подниматься, до слез
больно. Дыханию нужно было немного корма,
она взялась за горло,
словно поправила несуществующее ожерелье.
Запах тронул площадку, как смысл стих.

Навстречу распахнутая, стояла,
смотрела, просвечивал Бог
во взгляде. Звонок – перевернутая пиала.
Этот мир выучен назубок.
Все в нем совсем неясно, завесь
придуманных после гостей.
Или я буду потом
так же радостно плакать, как ты теперь,
принимая в подарок мыло, шампунь, суп с котом?

Коридор был узким, в конце – еще дверь.
С днем рождения, сказала она улыбаясь,
все шире и все сильнее.

Август 2007

И.Б.

Как раз один из дней, когда нельзя
молчать, сказать, поставить точку, прочерк,
и вместо злых сынов и дерзких дочек –
кровосмещения несмелых строчек,
не выбившихся в равные друзья
и тиканью, помимо, но меся
пространство, оно вновь выходит за
пределы совместимых оболочек.

Эдип, имея возраст, имя, дым
невзрослой сигареты, смотрит в лужу
и видит себя старым-молодым,
юнцом-не подлецом с лицом больным,
седым немудрецом, совсем другим,
чем то, что субмариной прет наружу
из темных прародительских глубин,
из яблока, подаренного мужу.

Но – горизонт. Но – небо. Но – вода.
И смотришь ближе некуда – туда,
где только дальше, не остановиться.
Витийствуя, как сорванная птица
с небес, от перьев, как от пуль, отбиться
сумевшая, жизнь эту жизнь ли та
длит равнодушно, как дымок у рта,
успевший от него освободиться?

Май 2008

животное идет умирать в пустынное место
или к другому животному.
идет медленно, опустив голову, цепляясь шерстью за
жесткую траву. иногда линии, уводящие – вверх –
травы – и вниз – шерсть – путаются,
переплетаются, задерживают,
приходится разрывать. больно немного,
но скорее досадно.
земля бьет в нос запахом свежепролитого
дождя, молока, мочи.
вода смешана с грязью, можно
только догадываться, какой она была чистой вначале.
но животное идет умирать,
и не различает этих признаков жизни.
другое животное ждет другого,
и если сойдутся звезды, по дороге
это животное умрет рядом с ним,
а пустынных мест и так хватает.

оно вышло вон из ряда, из стаи,
своры, собора, где собирались больше трех,
меньше одного, вне другого...

у него уже ничего не болело постоянно,
даже усталость стала неразличима,
путь был долгий, оно теряло шаги,
не оглядываясь на тени, ни одна из которых
не задержалась в нем.
они жили своей жизнью и тоже где-нибудь умирали
иногда. искали, зализывали раны, реже – выли.
а пустынные места на то и пустынные,
что никого не ждут.

Май 2012

* * *

Когда идет дождь, забываешь, что дождь идет,
кончается солнце и время, и плод-
оранж продолжает пальцы, так горизонт
держит светило к вечеру, чтоб
притвориться, что есть и был.
Так жизнь остывает, как суп, что чужой налил.
И пыль вытирая ладонью, а после – лоб,
ты думаешь, что уходит не то... И год
похож на транслитерацию с языка,
с которым не уживешься врасплох, слегка.
На список с иконы, давно потерявшей пыл,
но все же кольнувшей мыслью, что есть и был.
И кисло-сладким заполнив ладонь и рот,
почувствуешь привкус ржавчины павших вод.

Апрель 2011

УХОДИ
НА ВОЙНУ

О. Александру Меню

партизранивший, насквозь пробивший леса
неприсутствием вдоволь, и вдоль – колбаса
небоскребов, невстроенных нам в голоса.
но хоронят сегодня – АМень – и народ
говорит инородцем, и ходкою ход
завершает прошествие мнимых свобод.
словно крест наизнанку ныряет на вид,
карта мира не точит своих атлантид,
и не сыт небогиней седой Еврипид,
сколько в новой деревне чужих голосов,
сколько сов неокрепших в крупе ночи, зло в
чаше рук, чаще губ, Боже мой, Богослов!
осени местным знаменем – знаньем, знаме...
чтобы в памяти быть, и расторгнув в уме
все несвязи, слова начертать на зиме.

*

Словно Штрауса ветер швырнул, и покой,
и Прокофьев хлестнули, и щеки собой
заслонили смертельный удар.
Слышно «пой», словно эха церковный отбой,
продолжало подобие в обе – с тобой,
как губам необученный дар.
И Мефодий мелодий споткнулся о клин,
и мефисто страдает от честных седин,
и уходит тропа в небеса.
И галеры искоженных туфель, но Сын
прислонился к тебе, обитатель низин,
и вода поднимается за.

Сентябрь 2005

Как странно, сегодня была далеко я от смерти,
шумели торговые лавки, которых уже больше нет –
их сняли в начале июня. И опустел переход.
У города крышу снесло, и дождало. И Верди
не трогал Вивальди по счастью, прорезанный след
на небе был волос валькирии, но не ход

очерченного сапога. Превосходя
свои очертания, шли неизвестные люди,
чей подвиг бессме(р)тен – прожить без удачи
и радость найти в черном цвете. Хотя
не радость, а смысл. Уподобясь малюте,
ломаю по ходу я тени свои, и богаче

становятся стены домов и балконы, на них
стоящие тощие полуголодные пары,
в которых ни лиц, ни просвета меж губ. Как ни странно,
все это внушает не мне, а теням канон – ник,
и в кокон ползу, ударенья не ставлю – удары
на каждое слово, которое слышу с экрана.

Торговцы ушли, захватив и дома, и чернику
раздавленных взглядов. Все больше туристов, т.е. мест
все меньше. Сворачивай, гость дорогой, воротник у
втянувшего шею, парик натянувшего, крест
швырнувшего гордо на шлем и прибившего к Лику

почти серо-черную раму застроен, у града
нет прошлого, кроме дождя, только будущий ад,

удел городов, из которых взрывная громада
слетевших червонных хрустящих петард
осенних прочь, прочь сметена. И я рада,

что здесь проживаю, что здесь мне не жить, и не надо
все втискивать в память. Забвение лучше парада.
Особенно если действительно это парад.

Июль-август, 2007

Амосу Озу

Сначала рука подхватила волосы,
волосы начинали седеть.
Конь заржал, и его потащили вдоль
всего леса. Потом ему отрубили яйца,
нельзя сказать, что очень быстро.
Потом оставили только одну
руку. Черт, подумал один из них,
сломался ноготь, отращенный
во имя Его.

Меч похож на крест, меч бросает тень. Голос и
усталость вела их, смерть
пускала их вдаль, утихала боль
от попутных костров. Он носил имя какого-нибудь Штайнзальца,
рука принадлежала телу будущего гебиста,
лицо не менялось настолько, что «ну и ну»
выдохнула бы душа, если б умела. Но выдох вытачивал псих
с отрубленными морями, домами, чащами
во имя Его.

Они переговаривались на французском, английском, немецком,
итальянском, испанском, польском, русском,
украинском, позже
вкрадливо, как клинок, заполз арабский говор.
Ему отрубили язык, вытягивая как можно дальше,
болтая во все стороны, потом на весу.
В субботу его нельзя трогать. Он проводит время с семьей.
Переводчик встает в пять утра. У них есть распорядок дня.
Во имя Его.

Он проснулся, но все равно не помнил, о чем недетском,
невероятно бывшем и сбывшемся, узком,
как мысль об этом, остром – по коже
был сон. Только чувствовал, что забракован
день неприятным осадком. Он не просил: дай же
ходу назад, так как память уже не различала на голубом глазу,
с какой стороны он ощущал клинок: рукоятка, острие? Кто «мой»
говорил ему, он склонялся перед собой, неразборчивую речь храня.
Во имя Его.

Июль 2007

у маршалов иные времена,
лицом к лицу лица не увидать,
сейчас они идут не в бой, а на,
что правильной, ядрена, твою рать.

у них погон, что некогда сапог,
что касок, остающихся в пыли,
крови – всегда чужой, всегда в залог,
а надо же, ведь большее могли.

у маршалов иные имена,
поет обрубок в кресле у окна,
им всем идти бы, где бы ни бы... на,
и нет большого дела, где война.

А в нас, у нас, у них война везде,
пardon за рифму, завтрашний сержант.
И часовой, приставленный к звезде,
и рядовой, обрядовый, – лежат.

Они давно лежат, живы, мертвы –
неважно, лишь бы не было, увы,
зевают злые каменные львы,
и не сносить сержанту головы.

09.05.2007

Ты давно Божью Матерь принимаешь за мать
и не хочешь с ней говорить.
Иногда пугаешься репродукции: в комнате кто-то есть.
Оборачивайся и теряй. Потому что терять
важно. Редко глотаешь сыть,
чтобы то ли родиться, то ли родить, но смесь
с наступающими сумраками – это сыпь
в Рождество на родившемся теле, когда и оно
заставляет в небо нырять звезду.
Выводящую белым по черному. Голос осип,
принимая себя за себя, как исповедание, но
провожая всех на войну. Как всегда, не ту.

На не той войне сражены, и живые обычно
завидуют. Ритм дрожит, как рука, выводящая на
листке свою подпись под всем, что тебя не
касается. И знамение крестное, словно отмычка,
разрешает. Не столько скудна и прекрасна война,
сколь привычна. И даже Господь на нее не нагрянет.
Говоришь, ни о чем? Хорошо, тогда стань на колени
и согнись, как чалма господина задуманной тьмы.
Посмотри, это запах не пола, не почвы, не десен.
Вот Всемирной Праматери лоно – Его повелений
беспощадность. И нет Никого, чтобы брезговать «мы»,
Исаак в этом слове как агнец неглуп, но несносен.

Февраль 2008

На упругих ветках колымы,
стершихся христовых сухожилий,
посидим когда-нибудь и мы,
если только в этом доме жили.

Если был он так далек от нас,
что, снегами всасываясь в небо,
горы, зачеркнувшие парнас,
выбирали птиц. А птица – скрепа,

галочка, сцепление, ничто.
Только звук: бесстыдный, честный, голый.
Тем и брало ямба торжество,
что случайно вымахало школой.

Где ему в татарскую петлю,
полную замыленных елабуг,
влезть, когда барачное «люблю»
говорят, заваливаясь набок.

Дом, где стены есть и стоны часть
песни, что бурлачит по гитарам.
Где всему, что ввысь – сначала пасть,
но отдать неотданное даром.

Если только был от нас далек,
потому что невозможно ближе,
и не заселялся даже Бог,
по углам смеясь в оправе рыжей.

Тенью тел воссозданный, потел
здесь посмертный профиль мандельштама.
Как нас много, что не счесть потерь,
сбережений, грянувших нежданно.

Повисим, повеселимся мы,
пока ливнем с нив чужих не смыло,
на железных прутьях колымы,
принявшей в объятия полмира.

Сладко ли, голубчик? Вот и мне.
А язык подсказывает: сладко.
И в дрянной не ранней полутьме
довеет сознание до упадка.

Если этот дом всего лишь дом,
и вокруг все так же незнакомо.
Если мы хоть где-нибудь живем,
выходя из раненого дома.

Сентябрь 2008

Советские евреи, подверженные ринопластике,
 стоят в коридоре вагона и курят.
 Они проехали станции «Концлагеря», «Возвращение»,
 «Переход на зимлетнее время», «Поиск в сети»,
 но все еще не кончаются остановки «Война».
 Они в очереди на операцию,
 скоро будут совсем красивые,
 и их никто не узнает.

Май 2008

Они еще живы, защелки в домах,
 паркет или пол деревянный, и печь,
 в которой пока еще хлеб. Только хлеб.

Они еще любят друг друга впотьмах,
 и свет не включают, детей приберечь
 хотят, и никто не считает их лет.

А лет им так много, что плачет Христос,
 ладонью прикрыв их движенья, но в ней
 открытая рана, и небо течет

такой чистой кровью, что собранных слез
 не видно. Но Бог Всемогущий видней,
 ведет уже счет.

А счета им нет. И огонь, догорев,
 сбивается в уголь, и уголь горчит
 во рту у зари.

Они на работу уходят, под рев
 из люлек, и их еще лечат врачи,
 и с Господом кто-то из них говорит.

Но Зло, двуязыко, двулико, и с двух
 усатых сторон занесло сапоги.
 И некуда деться. Совсем. Никому.

Не встать. Не одеться. Не выключить звук.
 Вагоны. Загоны. Решетки. Тюки.
 Идите, любимые дети, во тьму.

*

Вот где вырви глаз, руку отсеки,
где вместо матки – ножей штыки,
вместо мальчика на столе –
тело кричащее, ствол в дыре.

За столом в халате, завит
в человеческий вид,
точит зубы железный нож.
– Был ты мальчиком? Нынче – вошь.

– Ты хотела вырасти? Из
тебя весь несущий низ.
Вот кровавое месиво, кровь не та,
что у женщин взамен плода.

Нож проворен, проверен, груб.
Прочь выходит народ из труб.
Что могло быть им или ей –
в мусоре-месиве.

Плоть видней,
когда плоти в помине нет.
Пусто книзу, вверху ответ.

Здесь нет космоса, ночь и свет,
здесь ни запахов, ни побед.
Здесь ни звука, ни зверя, ни зла.
Все похоже на край села.
Только что-то дрожит внутри.
Словно схватки в канун зари.

– Мое солнышко, здесь, во тьме,
это мне больно. Больно мне.
– Мамочка, мамочка, где... Спаси.

– Ты у Господа расспроси.

Август 2009

* * *

Где, страна, только не ночевала,
где не брала, наемный солдат?
В черно-сером тряпье Че Гевара,
перегаром дыша напрокат.

Заусениц, навязанных почвам,
этих гусениц, стустков желез
из железа, меняющих в прочном
ходе облик, что к миру прирос.

Ржавый царь, раб державный, червивый
изнутри, что идешь, как лиса,
как разнузданный мерин, и гривой
закрываешь другим небеса?

Не прикроешь игривого места,
то не Ева, а мать-Лилит,
голый череп, – не боле, не вместо, –
на котором не древо стоит.

Но к другой наклонюсь в этом теле,
но другой прошепчу невпопад:
«Береги только рифмы. В постели
пригодятся – затычками в ад.

Береги только лица, а дале
без тебя разрешу их повтор». .
И страна ничего не подарит.
И на голос мой валится хор.

Декабрь 2009

город-пуст-ни друзей-ни врагов,
все похоже на вместо и вроде.
смерть, как деньги, считает улов,
не у тех узнаёшь о свободе.

Нет у буквы стремления вверх,
нет у звука любви – воплотиться,
четвертуется чистый четверг,
отвергая возможность бесстыдства.

Как умыться теперь, не найти
рек, несущих не трупы, не горе
отражений уже позади
жизни. Здравствуй, Боржом и Гори.

Здравствуй то, в чем одета была
закономно, как сдача пейзажа,
нынче вписанного в тела
в виде почвы, гниения. Кража

дерева, ветки, листа – вот она,
как к петле, приручила к потерям.
Приходящая ночью страна,
юг не даром – радаром доверен.

Если жизнь не нужна,
то жена
будет матерью новым поверьям.

Енисеям не сеять – нестись,
подрезая секирами север.

Стой, стреляй, все равно уже близь
с далью компас бесформенный сверил.

Стой, стреляй, все равно от огня
не уйти, как от яблока Еве.
Пуль зрочки и слепая броня,
нет пути ни на юг, ни на север.

Повернись, сивка-бурка, собой
не нарадуйся, выйди навстречу,
чингисхановых воинов вой
принимай лошадиной картечью.

Если жизнь не с тобой,
то женой
будет мать неродившимся. Речью.

И не дашь закурить, и не спишь,
не увидев лица на солдате.
Небо – мина для сорванных крыш.
На скале нарисован Гелати.

Матерь просит защиты Дитяти.

Август 2008

Едут мальчики выдумывать войну,
на войне выдумывая войну,
убивая, выдумывая...

Хорошо бы найти жену,
да такую жену,
чтобы дочь и ночь были, и дубы, моя

мама-девочка, не разрушены,
сосны созданы, ели сплетены
в плети ста ветров.

Ты прости, что в бок чей-то ранен суженый,
нет ребра в нем, нет, нет за ним стены,
только сердце-мышь. А в нем – ров.

А за ровом чужая – на разрыв – страна.
А за ревом – боль твоя как хранилище.
Мама-девочка, ты совсем одна,
не жена, и дети твои с Ним еще,

навсегда уже,
навсегда...

Август 2008

Если, Дева, еще забредешь в этот край,
узнавай, но с трудом. С неохотой.
Гольий вид, неприрученный к гордости краль,
черноризников, сам желторотый.

От скелетов разошедшихся хвойных, золой
вырисованной в них, словно тщится
пепел – быть. Напоследок дает золотой
солнца им небосводоветица.

Вот икона. А что остальному теперь?
Крали выкрали темень дремоты.
И мужи их ложатся в могилы, с петель
окон вырвавшись в ставень икоты.

Вставьте в них пустоту. С кем ли будут когда
то ли выблядки, то ли подростки?
Так и замер ландшафт у открытого рта.
Выпадая заглавьем из верстки.

Что еще, некрещеные гор черепа?
Торжествует, как призрак, язычник.
Попрощаться зашла, но, видать, не судьба
после клетотов ястребов зычных.

Подожди, это улица, лавра¹, аул?
Если вдруг различишь, подскажи мне.
Словно кто-то кого-то на жизнь обманул,
словно нету подножья вершине.

Этот край вытекает из крови Твоей
на невнятном безгласном Афоне.
Весь пейзаж – только груда заросших камней.
Вся молитвенность – «Дай». Ты давно мне

приходила (забыла) во сне, говоря.
Я, любуясь Тобою, уснула.
И крапленая карта без календаря
направления кажет, как дула.

Но на севере паче любого огня –
позолота в свечах и оградах,
приросла, будто кожа, срывай не храня,
не выносит Он этого на дух.

Ничего не выносит и вынесет Он,
твой Отец-не отец, сын-не Сыне,
поменяю, как климат и мат, этот тон
на любой псевдознавшей осине.

Вот Тебе Твои дети, а мне – не свои,
по раскиданным североюгам,
где вовек не бывало Господней любви
без нещадности к близким испугам.

Говорю как не знаю, и значит, права,
с губ срывая, что целку, печать. Я
не смиренна, согбенна, смешна, как трава,
вверх глядящая в пору Зачатья.

Сентябрь 2008

ПЕСЕНКА НА ОДНОЙ СТРУНЕ
(исполняется на войне)

– Извини, – говорит один.
– Извини, – говорит другой.
А вокруг пустошь пуль да правил.

– Не хочу, – говорит. Не хочу, –
говорит. Всюду неба нет.

Вот приходит Салахаддин,
на любой на земле святой
он из лучших был бы. Направил

нас с тобою к Его бичу
грех неведенья. В нем ответ.

Крестоносцы, устроив ряд,
протыкают – что говорят.
– Извини, если хочешь. – Из-
вини... Это всего лишь близь,
а вдали еще, а вдали
сколько будет гореть земли.

– Посмотри, солдат, се лоза.
– Се лоза, солдат, – Говорю.

Ах ты пуля моя, егоза,
как у сердца тебя люблю.

Вот как вместе с ней полетим,
выпьем Крови из вино-градин.
Ни один из нас, ни один
друг у друга уже не украден.

¹ Лаврами в древности назывались тропы, по которым в пустыне монахи ходили друг к другу в кельи.

К сентябрю или декабрю
как умрем, мы родимся, брат.
Извини. Обними. Велю.
Разговаривай невпопад.

Но на смену гремят аттил
бесконечные жернова.
Я запомню, что ты простил.
Ты полюбишь мои слова.

Сентябрь 2008

НИКОЗИ ОСЕНЬЮ, 2008.¹
ДОРОГОЙ К ВОДЕ

*«Купина, купина, не потому, что ты – выше всех деревьев,
осенил тебя Бог Своим присутствием, а потому, что ты –
ниже всех деревьев, вселил в тебя Бог Свой дух».*
(Шаб.67а)²

I

В заброшенном хлеву, на берегу
немого неба, плещущего Ей,
Звездой, они во свет Его вводили.

Так много наяву произошло,
что вряд ли выберешь не сон.

У рек – Реки – он скажет им: «Реку»,
и сотни храмов вдаль – не став сильней,
стал строить человек – из крова пыли

ответят. И Нагорное Чело
услышит речь-молчание, не звон.

II

Окно забито солнцем – панагия
у храма на груди. Ни снимешь, ни
притронешься, возможно лишь вернуть

Распятому поверх одежд. Нагие
к Тебе идут, не зная. Разожми,
дорога, пальцы-тропы, и на грудь

падут не толпы, но один, идущий.
Имуший стыд и свет. И не украсть
его исканий властность. Полотно

библейских букв в раю не смоят кущи,
в аду не воплотившаяся страсть.
Стена вдоль небосвода. Все равно,

дождем ли, солнцем выбито окно.

III. В л а д ы к а

Цвета неба, растертого по Его щекам, глаза.
Цвета воздуха вымыслы и догадки.
Все видно насквозь и ничего не видно.

По лицу – моему – сбегает прочь мультяшные слезы: я за
Тобой выглядываю и смотрю на него, посадка и складки
на одежде мужественны, как горы и тень их,
легки и стремительны, словно воды рек ночных,
и смех ребячлив, и свит, но

из самых невидимых – живых – лоз, и скрыт.
Учитель, зачем мне слышать, что он говорит,
если – Ты.

А он и сам виноград, и наводит мосты...

IV. Н и к о з и. 25 октября

Я не знаю, где больше Бога:
в развалинах, в новых, отстроенных монастырях,
в древних храмах с крестами и камнями, крытыми пылью;
в пустынях, – Боже, какие творишь пустыни! – в траве,
пропахшей капелькой утра, стертой подошвами, в осколках;

в мутной грязной воде, засасывающей, как берлога
медведя, взгляд, провожающий облако, в прах
обращенное, страх не узнающий, прячущий в боль и боль у
бытия на пороге остальное тело; в крове-
носных сосудах сгоревшей лозы после долгих ласканий огня, долгих...

Обрубки дома того и другого с перерезанными глотками
кирпично-каменно-серых колонн, деревья
черные, словно дыры, вырезанные из белой бумаги
воздуха, черные точки горелых сморщенных виноградин, за-
вершившие продолжение монастыря –

врастают в Его объятья.

Глотками здесь ничего не выпить. Каплями. И походка ми-
молетна, и чернильный пепел на перья
веток сгоревших ложится, и что-то пишется, аки
посуху, по бегущим дождям и летящим снарядам, день за
днем продолжается трапеза, песнь молчания для

разговорами, шутками тихими, смехом, врастающими...

Ничего не закончено, ничего. Не дашь
и гроша за цветущий сад, лишенный этих цветов.
Утешение выглядит как утеха.
Цеваот, Имя воинств шепчется, Саваоф!³
И чем тише звучит «Отче наш»,
тем слышнее эхо.

V

Посмотри, вот враги твои – близкие,
вот домашние, вот враги.
Прежде Господа их не люби. Не люби. Нелю... би...
Но в дорогу бери.

Он настолько в своей беспощаден любви,
что ТАМ нет ни детей, ни родителей,
ни мужей, ни жен,
ТАМ нет встречи, одно
соединение.

С Ним.

VI

А как пустим по воде
да князей да царей да солдат,
сколько этих бумажных корабликов вде-
то в детство, а мы-то, а мы-то... Летят
то ли птицы-бескрылицы, то ли
перелетные пущи неволи.

А как пустим по нигде
да чужих да своих да селян,
чтобы вздрогнули храмов кольчуги,
что дворцы-молодцы, что лачуги,
все одно, пепел пел, сыт и пьян,
не дарив отраженья Звезде.

А вода, а вода, а вода
обмывает нелепую грязь.
Вот отпустим мы сами, смеясь,
эту жизнь и вернемся сюда.
Как положим во гроб эту грязь,
да схороним царей и солдат.
Приходите, любые, резвясь
на Ладони – пусть капли летят.

VII

Возможно, самое сердце Картли.
Возможно, просто соль чернозема.
Черна зима будет, низок карлик
или высок – несладка истома.
Не приторна, не притворна, вряд ли

она останется, разъезжая,
что певчий дрозд некрылатый, в поле
засеянного облаками и взглядами неба.
Что мне до тебя, земля нечужая,
когда есть выше земель и смоли
ночей, как горечь моя нелепа.

Есть невозможнее остального.
Немыслимое «Идете?»
Истина тянет дальше. И Слово
жаждет вернуться-вырваться прочь из Плоти.

VIII

Подвергнута очарованию, знаю:
здесь что-то, по чему скучает
придуманное во мне, которое больше меня,
и сравнившееся со встречей.

Даже в самой середине хожу по краю,
смотрю, как на храма плечах нет
одежды, надежды, их среди дня
забирают и входят внутрь священник, певчий.

Окно действительно забито солнцем. И кирпичи
ложатся на купол снизу и изнутри.
И растаскиваются три свечи
воздухом. Я посчитала: три.

Можно креститься, можно молчать и петь.
Мир увеличивается на треть,
переходя из воды на твердь.
Жизнь – это вывернутая смерть,
если сверху смотреть...

IX. В СТОРОНУ И ВВЕРХ
(30 октября 1944 и просто октябрь) ⁴

Ближе не подходи, говорю любому, который издалека
близок чрезмерно, не подходи, чтобы я, из желания прикоснуться
созданная, не узнала, как к тебе прикасаться.

Перечисляю далее имена, места, виды, улыбки, морщины, легка
на безмерность, лишённую безрассудства.
Изучая ландшафт подробностей боли, не нахожу абзаца.

– имена из Имени...
изыми, отними меня,
вынь да брось на нож
Твоей милости, Бож... –

Только люди способны разорвать пейзаж,
направляясь в разные стороны,
не давая взгляду продолжиться как воскреснуть.

Потому Ты столь целен, что никому, ни к кому? Отдашь
разве дали Свои как дары? Скоро мы
их забудем. И сумрачный лес, муть

болот нас зашепчет. Невозможна ненависть
к аду, злу, уравнение неравное, и вовеки и днесь,
пробивается дым – расстрел
чистоты непрозрачных листьев. Как Ты посмел
так возлюбить нас, как нам не сметь,
вот я слышу шепот, как слышу смерть.

Анна подтолкнула сестру: Марго, выпрямись.
Это спасло их, нагих. На несколько месяцев. Здесь.
Мать отшвырнули расстрелом. Голые души, тела, так много,
что и сегодня нет расстояния, нет «надолго».
Только ли я их вижу через сгоревший иссиня-
черный виноград, снаряд в миниатюре?
Ты был в теле народа этого, Сыне.
Горькую гроздь целую, чувствую пули.

Как хочу я думать, что Ты приник
к их губам и спинам. Дневник
Анны Франк Бог листает, видимо, на досуге.

И деревня спит, и ласкаются кобеля и суки,
провожая страждущих посторонних
невзрачным лаем.
Миллионы пепла спят на Его ладонях,
только мы, несчастные, не проснувшись, не засыпаем...

X

У меня так мало времени, чтобы говорить тихо,
владыка, что слова разрываются прежде чем
воплотиться. Но точно знаю, что.

На руках у Вас линии заплелись, будто лозы, и хо-
рошо Незнакомый, отражением в воде высечен,
сквозь зрачки винограда, как чрез решето,

сквозь дыры в стенах: глазницы овальных окон –
чем больше разрушено, тем сильнее Он,
и место выглядит настоящим –

смотрит на разных, ходящих под боком,
и сморщенная чернота – что гвоздей – колонн,
меж которыми сможете, выращивает: «Обрyщем».

Причастны – не причащены, невнимательно ходим
в пространстве, побиваемом камнями, но с навыком Лика,
и благодарение пробивается в голосе.

Здесь самый естественный вид. Не тупик и не родин
бессмыслица – выход, здесь выход, владыка,
что крыша и окна, коли небо сбывается вскорости.

Идите. Не знайте и знайте. Мельчайшими грузами
пригнута, вослед растяну все свои палестины.
Что нового скажете мне? Ничего. Уже узно.
Поступки единственной Поступью неотвратимы.

XI

Эта почва с лицом из оспы –
вмятины выпавших бомб,
чьи недолгие черепа
превращаются в громкую псевдопамять,

остаются саднить, словно Он опирался
пальцами, нагибаясь к Земле.

Был бы ребенок – рос бы
среди этих развалин, он б...
он б... заикаюсь, глуха, слепа
к прапрощению, смог избавить.

Ветер тени кружит, и безумная сальса
бывшего пороха посохом бьет по воздуху, сле-

дую ветру любому, и веру любую
унося в сжатой пальцами почвы горсти.
Не грусти пред Распятием, Отрок. Твой лоб я целую,
прикасясь к измятой земле. Выпрямляясь, прости.

XII

Красные капли листьев качаются над травой...
Осень стекает с них, как с гуся вода.
Будь со мной, говорят развалины. Будь со Мной.
Капли в Картли вымоют города.

А пока опрокинем твое вино.
И прольется кровь Твоя в нас, за нас.
Если Ты простил, то давным-давно.
И просить прощенья как в первый раз.

XIII

Прочитай мне псалом, Всемогущий, о вечном, нетле...
Что еще среди нас Ты на этой чреватой Земле.
Я частица Твоя, Ты частица во мне, – целиком,
Ликом, залитым речью, молчаньем, прочти мне псалом.

Пепел хлеб мой, и слезы вода, ризы созданных для
нас Земли и небес тяготят. Дарованием для
простиранье мыслей моих, где невидим предел,
на кифаре, кимвале, безмолвье, где Дух не редел...

Не понять. Не объять. Не обнять. Но коснуться Твоих
сотворений. Вселенной, нутром Твоим, вывернут вихрь
наизнанку. Стою у подола, поверив почти.
Я услышу. Услышу. Услышу. Ты только прочти...

XIV. РЕЧИТАТИВ АЛЬТА (DU LIEBER HEILAND DU)⁵

Лодка похожа на рыбу, тихо плавает,
слегка царапая воду, в ней никого, но кажется, будто Кто-то
смотрит помимо, поверх. Приготовляю, грешная, из тишины бальзам,
чтобы успеть не умереть-натереть и те-
лом прикрыть этот дух, лишаящий страха.

Молчание – единственный наш язык. Полет молчания всех, кого так люблю, ломает линию горизонта. Ты отзываешься через время. Сам – жить-умереть не страшно, Явленный в красоте с голосом Баха.

Отдаляется – обнажается лодка, Стоящий в ней тихо ведет сквозь рассыпанный рис городов, видишь, шепчу, вон там мой, но Он смотрит вперед. Будто вослед. Преткновенья ни камню, ни ветру. Стать гребцом бы, как по струнам, ударить по веслам,

если были бы. Но верней нет направления, чем неименно его. И улов так велик, что почти незаметен. И в рот забивается мир рассыпчатый, свет у ног Его не мерцает и кажется взрослым.

Чтобы быть настоящим ребенком. Надо вырасти. До небес. До земли. Выше травы не поднимаясь, ниже звезд не спускаясь. Но Он смотрит вперед и берет всю невнятную речь на Себя. Пяты клавиш, они одни, сохраняют шаги Его.

Это я, говорит душа, люблю, потому не прошу милости. И не брошу. И не бросишь. Да? Говорит душа. Мы же одной воды. Мы же... Вот из будущего выходят роды, их лица не узнать. Ты и прошлого не оставишь. Час Твой – часть только, празднуй, Дух, торжество.

Где-то трава открылась вослед уходящим шагам, возобновленная на асфальте воображением. Душа шелестит в теле, что бабочка возле неба, и выбирается, складывая крылья, и голос ее – исчезновение.

Не хотела бы, Радость Моя, видеть смерть Твою там, тень Креста, лежащего ожерельем вокруг иссушенной не искушенной планеты, и просится ХХлеба даже в прожитом веке и не пережитом, и в этом тревога усилится. Послужу душе, тяжела уже, где же Ты, иже...

След Твой хлеб мой, да не вем и я...⁶

XV

Сильна, как смерть, любовь.
О Сыне Божий!
Как Ты похож на нас... Как непохожий на нас, подобен, слит со Всеединым. В Тебе проснуться днем необратимым.

В Тебе остаться каплей, океаном, мечом воздушным и огнем желанным. Точить и не дробить одежды в камне. Уйти в Тебя. И за собой, пока мне

позволено, оставить двери. Настежь. Каким Ты светом мир нездешний красишь? Зачем...

Ко мне повернуты спиной, спят полюса. Прощенье. Но какое!

Октябрь-ноябрь 2008

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Никозская епархия – одна из 12 древнейших епархий христианской Грузии, созданных в V веке царем св. Вахтангом Горгасали, тогда же перенесшем столицу Грузии из Мцхета в Тбилиси. Во время событий августа 2008 года село Никози было частично разрушено, полностью уничтожены монастырь и Дворец епископа IX–X вв. рядом с церковью V в. и колокольней XVII в.

Митрополит Никозский и Цхинвальский владыка Исая с послушниками чудом остались живы, задержавшись в трапезной.

2 Шаббат – сокращенное название одного из трудов талмудической литературы.

3 Цваот (*иврит*, в русской традиции Саваоф) – множественное число от «цава», войско на иврите. Часто употребляется в сочетании со словом «Бог» – Бог воинств. Это имя может означать как «Господь воинств Израилевых», так и «Господь воинств Ангельских». В этом имени идея Бога как Всемогущего Владыки всех сил неба и земли, так как по библейскому представлению звезды и другие космические явления – тоже своего рода «воинства», повелитель которых есть Бог, как Яхве Цваот – «Господь сил». (1Цар.17:45; Пс.23:10, Ис.1:24 и др.)

4 30 октября 1944. Селекция в Освенциме: Менгеле и женщины Франк. Ленни Бриллеслейпер вспоминала: «Нас палками выгнали из барака, но не послали на работу, а собрали на площади для общей переключки и заставили раздеться догола. Так мы простояли день, ночь и еще один день. Иногда разрешали лишь чуточку размяться и время от времени кидали нам сухие куски хлеба. Потом платками погнали в большой зал, где было, по крайней мере, тепло. Этот зал, где и собирались провести отбор, был залит нестерпимо ярким светом. Офицер, в руках которого находилась наша судьба, был никем иным, как самим Йозефом Менгеле». Менгеле отправил Эдит Франк, мать Анны, направо – к больным, которых отправляли на смерть. А вот и дочери: «Пятнадцать и восемнадцать лет, голые, худющие, под безжалостными взглядами фашистских офицеров. Анна смотрела прямо перед собой, она подтолкнула Марго, чтобы та выпрямилась». Это «помогло»: Менгеле оставил девушек жить. Они прожили еще несколько месяцев.

Детали взяты из Живого Журнала о Якова Кротова.

5 Речитатив альта (Du lieber Heiland du) – О Ты, Спаситель мой (*нем.*). Иоганн Себастьян Бах, «Страсти по Матфею». Из либретто Пикандера (по книге М. Сапонова «Шедевры Баха по-русски»):

Иисус:

Что смущает женщину? Доброе дело сделала она для Меня! Бедные всегда будут с вами, а Я не всегда буду с вами. Вылив благовоние на тело Мое, она сделала это для Моего погребения. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано это Евангелие, во всем мире, будут говорить и о том, что сделала она, в воспоминание о ней.

5 (9). Речитатив альта (Du lieber Heiland du)

О Ты, Спаситель мой,
Ученики Твои в раздорах,
Права Твоя раба,
Бальзамом плоть Твою
Для гроба приготовит.
Пока молю дозволить мне –
Из глаз моих потоком слезным
Омыть твою главу смиренно.

6(10). Ария альта (Buß und Reu)

Каюсь, винюсь,
Грех мне сердце разрубил,
Пусть же капли –
Мои слезы –
Благовонием Тебе,
Иисусе верный, станут.

6 Вем – первое лицо от «ведать». ВЕДАТЬ, ниж. вести, церк. ведети; ведывать что, знать, иметь о чем сведение, весть, ведомость, знание. Толковый словарь В. И. Даля.

В воинской чести зачеркнуто части
 органов больше чем членов у власти
 членов все меньше чем их же в окопах
 избах полях и горах черножопых
 вот где тоске разгуляться и вот где
 грызть заскорузлые родины когти
 там где от ящериц пахнет хвостами
 там где тела полагали что сами
 только хвосты и поют о нетленном
 родина так же относится к членам

Мальчик. Стоит. И в руках – то что надо.
 То, что в руках, далеко от парада.
 Думает он о пейзаже с отвагой
 и орошает несведущей влагой.
 Мальчик. Стоит. Комары, кровь, бля пота.
 Череп. На черепе солнца блевота.
 Голые глупые мысли по теме.
 Сучка-мишень – незаросшее темя.
 Он и пейзажу-то нужен не очень.
 Мальчик. Стоит. Его профиль заточен.

Май 2010

Генерал-лейтенант закурил, задымил
 в том районе, где он не убил, а дебил,
 было очень темно, было очень смешно,
 почесался слегка, но в штанах все равно,
 и пошел загружать необъезженный спирт
 в том районе, где каждый по-ленински спит
 по ночам, по утрам, и встает, словно тыл
 на войну, у него блином-блин козырек
 перед небом, как вялый случайный курок.
 Он, как Эйфель, застыл посреди темноты,
 генерал-лейтенант расширяет бинты
 серобурых границ, выполняя приказ
 уничтожить убить не любить сирых нас.

А опасны реально – а ходим, а спим,
 а невидимы, видимы, выродки, сим
 победиши, он встал, как поднялся с колен,
 и пошел побеждать метры, взятые в плен.

В том раю, где у нас нет с собой ни хрена,
 ни в себе, то же самое: Бог и война.

Май 2010

вернуть себе вены, гулять по кривой,
нырять в перемены, кромсая покой,
защиться, побриться, зарезать, восстать,
порыться в страницах, терзая кровать,
держат руки под одеялом, пока
способна природа и в силе рука,
менять, как перчатки, перчатки бросать,
и точно, и четко, и быстро, под стать,
слова из гортани – когтями, кнутом,
и лошадь изранив, не дрогнуть потом,
идти напролом, кровь чужую вливать
во взломанный компас, и мать твою, мать...

Вот так возвращаешься в смысл ея,
где все одиноки: Бог, ты и семья,
где ходят по кругу, и круги своя
ведут тебя за нос в ебесны края.

Сентябрь 2010

Пока ходят под облаком геи,
православные в крестных ливреях
бьются юбками взад и вперед,
строят нимбы воры и пигмеи,
каждый сам себе молох и мелех,
жрет три корочки псевдонарод.

По законам отцов и потомков
сотворив достославных подонков,
в самолеты, в такси, в поезда,
в танки, в гранки, в форматы, в поломки
посадили, расставили, скомкав
в труп уроки чужого Труда.

Земли, строки забрали-просрали-
взяли – разницы нет, фестивали,
конференции, книги, посты
на стене и у стен, что стояли
и висят, что твой феб там, в забрале
фб-жж-енной постель-пустоты.

Распубличное выдав «спасибо»,
всем изгибом пойдя на прогибы,
ходит посуху, как по воде,
некто, рядом фамилию либо
слово вставит в строительство нимба
некто, некто – нектар для нигде.

Вот увиден застенчивый список.
Вот застукано стадо описок.
Вот и горстка не взятой земли.

Для чернил или крови весь высох
лист, осталось ходить в псевдолисах
тем, которые б тоже могли.

Что ж... Приветствую вас, зодиаки,
кровопийцы, рабы и маньяки,
и меньшинств, и большинств вашу рать,
жрите мясо и хрумкайте злаки,
хрюкайте, жемчугов не бояки,
вместе жить, да отдельно сдыхать.

Июнь 2013

* * *

Григорию Померанцу

часы честности сверять
почти уже не с кем.
вес легчает, бес крепчает,
нас уносит.

Стиху тяжелее вступить в права.

Потому их – рать.
потому, обесточенных вечным и веским,
строчек больше, чем чаек
над океаном, и кости

мелких букв бросаешь псам, лающим-то едва.

Серьги получают своих сестер,
чайки выхватят рыб.
Над ушедшими, как костер,
всходит нимб.

Рыбы съедены, Рыба – да,
как обычно, молчит.
И часы дробятся, беда
выставит счет и щит.

Их считаешь Ты? Мы не кладь –
мелкий тупой резерв.
С нас ни взять ни дать, только нерв
стрелки корчится, чтобы встать.

Февраль 2013

не лайкай родину, не лайй,
озерна, обла, вид несвеж,
чужая птичочудищ стая
пробьет во взгляде в небо брешь.

оттуда рухнет вниз подлогом
дыра, в которой родина
сверкнет тебе, как яркий слоган,
облайканный со всех и на.

возьми билет, ложись на курсор,
чтобы никто и никогда,
чтоб амбразура недовкуса
(т)ебя не съела без стыда.

проезд оплакан и оплачен,
стеклом-резинкой средь степи
и гор, и рек, по дням, по дачам
сотри, не лайкай, не люби.

Сентябрь 2013

Итак, спускаешься в город,
со своего этажа, откл. от общей втянутости в мир,
похоже, с облака, виртуальных выбросов из осадков,
и видишь хмурые силуэты, улыбающиеся лишь при встрече,
настолько насквозь случайной, что не успеть войти
в другое выражение лица.
Собаки лают вослед машинам, лающим вослед другим
машинам, одетым в пижамы такси и не в мигалки, никто
не оборачивается, уходя, спускаясь, не провожает взглядом
расставленные после аварии автомобили.
Автобусы полупу(с)теют на середине дороги,
афиши свидетельствуют о начале
позапрошлогодного мира и гастролей трехмесячной давности,
до сих пор из сумки не вытащены билеты
на вечера, прошедшие без их и своего участия.
Встречаясь с кем-то взглядом, немедленно отворачиваешься,
чтобы случайно не заметить человека и нечеловека.
Все обычно настолько, что не запомнить.
Разве что телевизоры в офисах и квартирах, радио в транспорте,
молчашие, слишком явно молчашие пассажиры
и нервные пешеходы, забитые голосами в мобильники,
передают далеко не последние известия о текущей войне.
И небо вослед зевает, и редкая птица в нем застревает
в виде вверх подброшенной пули,
добравшейся до настоящей цели.

Октябрь 2008

Киев тоже город тоже река то же местечко
 где и мы бывали издалека и почти навечно
 шли в магазины ели мацу и красили яйца
 даже если пели Отцу не умев склоняться
 А река красота синевою хлещет
 тоже держит врата что иной болельщик
 пойманный мяч отпусти говорит им город
 я иду на горсти выпевать простор от
 вас не знающих градов хранящих зелень
 в небо где огонь не адов и мир немерен
 вот беру я с собой человек под двести
 будем в лодке одной да не будем вместе
 Мы там тоже не ведали пива-меда
 Киев город похоже у нас свобода
 называется враз и снимает крышку
 со гробов и зараз отхватив кубышку
 кто несет во горсти свободу вместо
 Киев тоже Небо Его Уезда

Февраль 2014

Тревожный кекс на праздничном столе,
 затор и мрак всю чернят бельню.
 Сплошное беспокойствие, але –
 и снова пост, зачищенный другими.
 Пока еще и пей, и пой, и бля,
 уже без неподстреленного мяса,
 Пока еще выстраиваешь в ряд
 свой март-апрель-май будущего, трасса
 жрет похотливо скорые авто,
 глотает самолеты взлетный змей, но
 уже нацелен снайпер на ничто,
 где нынешнее не смешно, не сильно,
 уже и птица Сирин, и святой
 поют и воют, в призраке нечестном
 все узнается, кекс, и стол, и бой,
 в котором есть Жених, и нет – невестам.

Февраль 2014

Если ты прощаешь зло, не называя,
 какое прощаешь, значит, ты не
 прощаешь, а просто возиться
 не хочется с прошлым, будущим, а
 настоящее и так не наступит.
 «Мы все пластилиновые изнутри», –
 сказал французский мальчик
 известному аниматору,
 голые, как все не короли –
 но не как Он на кресте.
 И кто Его одевает в водах и на деревянном,
 оловянном, стеклянном? Иконы
 замасливают плоть
 для Духа, а Дух
 замысливает плоть для пути.
 Если встретится спутник,
 просящий за точное,
 воплоти его, он – планета.
 Если ты прощаешь не поименно,
 а отпускаешь, как прах – отряхни
 с ног твоих и себя, потому что нет
 того, кто прощает, прощать
 без называния и безвольно –
 значит быть уловленным.
 Будь блажен, не ходи по дорогам
 безымянных прощений...

Июнь 2012

Уходи на войну, мой родной, уходи на войну,
 там все Господу дань, и не надо бояться другого,
 дай снаряду простор, пуле – тело, улыбке – кайму
 горизонта, вписавшего рану в безгубное Слово.

Хорошо в рукопашной сойтись и не вспахивать дни
 безнадежной попыткой вписаться. Отдайся всем градам,
 всем дождям и огням, потому что чужие огни
 зажигают твой свет, где у радости главное – рядом.

Посмотри, как Природа приватна. И спины у гор
 в беспристрастной молитве сгибаются пред поцелуем
 неземным. Тишина всестороння – не шум, не мотор
 этих рваных машин, по которым смертельно тоскуем.

Обязательно дам тебе знать, как оплакать тебя,
 как оплакать тебя в этой почвенной смертной державе.
 Ветра стеб в ненадежных пейзажах, пшеничных степях,
 пальцев треп в золотистых пушках, что зерна не держали.

Не давали, в зародышах формы свои находя,
 находившись по разные стороны разного мира,
 что бы здесь ни сказали, всегда добавляешь «хотя»,
 добавляешь и нехотя смотришь, как плавится миро.

А как станут тебя обнимать и цеплять за подол,
 оглянись, посмотри, нет ли голого дерева в поле,
 словно впущенной в землю ракеты. Там кто-то увел
 за собою возможность предать и предаться. До боли.

Уходи на войну, мой родной, уходи на войну,
нет прекраснее места для тела как Дара Святого.
В эти дырочки в хлебе вживаясь, услышишь: «Вильну
не хвостом и не тенью, но сорванным звоном засова».

А как дверь распахнется, как станут и звать и не звать,
никого не окажется в самой растянутой дали.
Легион им не имя, а званье, и выдохнет мать
только то, что дано ей, узнавшей границу печали.

Уходи, Мой Родной, уходи...

Июнь-июль 2009

ПОПЫТКА ЛЮБВИ

* * *

Я поняла, как хочу тебя любить –

чтобы войны, толпясь на окраинах лужами, просто
лужами, из которых вытащили тела, в нас забралась
и не трогали, но протыкали копьем, только вместе лежащих в кровати-
на полу-где угодно, но вместе.

чтобы сто ураганов несло, сверху сыпалось просо
настоящих комет, протыкая насквозь, Анабазис
проходил, каждой точкой пути нас вбивая друг в друга. И встать, и

восстать нам – но вместе – как гвозди в цепи за двумя
потянувшимися сплошь и рядом ладонями, навзничь
опрокинутыми в небосвод, как в преддверие Бога.

чтобы имени даже не знать, и лица, и вина
никого из любых, не вменяя в обязанность разниц
неумение выбить. Без логова и диалога.

чтобы судорогой сведены, как ближайšie в роде
люди между собой, мы остались – впервые – в природе.

И тогда, без районов окраинных рая и ада,
будет заново имя дано – и его нам не надо.

Август 2008

Столько точного сказано про любовь
за тысячелетия, что можно подумать –
и вправду любили.
Ласкали женщин и знали, как делать
их разноцветное тело еще более разноцветным,
и те обвивали мужчин, открываясь выплеску их красоты.
Можно подумать, тела миллиметр в миллиметр,
секунда в секунду совпадали, вздрагивая одним
стволом, как стрелки часов,
никогда не пробивших полночь
прежде, чем замолчит петух, предназначенный для рассвета.
А рассвет обнажал любовь и предательство
запахов, очевидных складок на коже, одиночного сна как немощи
Учителю, знавшему, что душа
в это время направлена прочь
и говорит слова отречения как признания,
превращая их в пленных апостолов веры,
которой – одной которой
не в силах Он наградить,
и Учитель молчит, молчит и молчит,
и уходит на голую гору – любить.

Август 2008

*Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты?
где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею
возле стад товарищей твоих?*

[Песнь Песней 1:6]

I

От мира не отберешь
возможность умереть для него,
даже если виден.

Можно повторять движения за Богом.
Внутренние, конечно.
Но все равно – виден.

Ночь идет, напялив брошь
на грудь неба, но существо,
которое не объято, говорит ей: «Выйдем?»

И они выходят поговорить, а он, в немногом,
выходит на уровень встреч, но
мир не удержит походку, даже если виден,

чье лицо светлее, чем утро без всех починок
живописцев, чем мысли родителей о детях неизлечимых.

II

Разделенные на два лица, на четыре плеча,
на четыре бедра...
Потому, потому больна.

Если б ты был мне брат, умерла сгоряча,
если был бы мне друг – умерла,
И сейчас между нами Господь, как война.

А Господь мой таков, что не комкает слов,

и не слушает слез у молитв.
Разве только единый напев.
Тело – ложе без лжи, из ливанских дерев,
одр души, каждой клеткой болит.

А Господь мой такой, что не любит покой.

Разделенные на шаги, на других вокруг,
на четыре света и тьмы...
Потому, потому больна.

Разделю что угодно, и смерть разлук
так сильна, что берет займы
у нее – и дает она.

Но она, раздав себя в ширину-длину,
всех нужнее Господу моему.

III

Вот идет монах. На нем борода.
Седа.
На нем черное не заучено тьмой,
почти молодой.

На нем пыль и боль,
столь
прозрачен, что видно сквозь
все, где есть изъян.
Сам он бел и румян¹,
и пытается вынуть гвоздь,
хотя в мире сем он лишь гость.

IV

Запах твой – Земля до греха,
речная вода, ручная вода,
запах твой – Неба плоть.
Как мне жизнь не выдумать, у монаха
на Ладони Господа
света, как одежды, не распороть.
А одежда твоя черна, как снег
возле утра, сподобившего рассвет.
А одежда твоя – только тень Лица.
И восходит солнце в глазах, не гаснет,
льется свет Ручной, словно Божий плаед
на поля нагорные, на леса.
И походка легка твоя, как Его
бремя, голос, словно орлиный зов
среди горних, вещающий чистоту.
Я смотрю на тихое торжество
у Ладони Господа, дальше слов,
и иду к тебе, навсегда иду.

V

Если есть любовь, значит, нет любви.
Потому что любишь в спину, идя
за тем, кого любишь, кто идет за Ним.

Лепишь скорые рифмы: реви, зови,
на крови выводя про дитя,
и мечты бесплодны, как херувим.

Это совокупленье банальных рифм
ничего не дает, окромя тоски,
точки в смысле телодвижений без.

Без кимвалов и меди строишь свой Коринф,
но Сизифом новым². И лучший скит –
из подножья моря с глухотой небес.

А пойдешь по водам – ударит ток
бессеменных замыслов от Творца.
Обнаженные ступни, запястья, как

и положено, если заводит Бог
на дорогу вверх. И Его пыльца
на других оседает в моих стихах.

Март, август 2009

* * *

Иоганн Себастьян посмотрел в окно.
Дети, подумал он на ноты,
или ноты, подумал он на детей.
Под окном бесконечность стояла в виде равно-
значных восьмерок (головы сверху – цифр заботы):
три христианина, один иудей.

Им бы по имени дать – устали,
или по вере, вееру дней.
Бог любви или Бог деталей
все-таки? Вряд ли ему видней.

Бог детей, улыбнулся, имя
чье не ручей, но море, как
сказал некто меньший, но
за окном пустовал иссиня-
черный день, как тетрадь в стихах
через столетья три. Не смешно

Себастьяну, стрелам дал весу
и улыбается – это мы
смотрим, как он играет Мессу
в пазухе у Святого Фомы.

Вот он вдруг повернулся, вдруг он
смотрит в окно: детей торжество
голосит, шумом в прах разруган,
шепчет Сыну он: «Ничего.

Деточка, посмотри, как красив,
нечеловечески красив,
нечеловечески пустынен
мир, в котором только бы
просто переспать и выспаться...»

¹ «Возлюбленный мой бел и румян» – [Песнь Песней 5:10].

² По преданию, основателем династии древних царей и города Коринфа считается Сизиф. В первой строчке отсылка на стих из Послания апостола Павла к Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» [1-е Коринфянам. О любви 13:1].

Март 2008

Если есть на свете слово,
 где Господь мой Иегова,
 повелитель Саваоф
 улыбается без слов,
 если есть на свете, Боже,
 слово, ставшее не кожей,
 но душою; Сын, навьлет
 им пронзенный и впервые
 произнесший, зная вкус
 Небосвода, Иисус;
 слово, званное без звона,
 где ни капли полутона,
 только тихо дай и до,
 слово, где любой никто
 сразу кто-то и какой!
 каждый ангел-звук живой;
 если есть на свете слово,
 где ни капли нет чужого,
 улыбается Христос,
 видя мягкий свет волос,
 в нем и радуга, и гамма,
 это слово – Слово – мама.

Март 2008

И.Б.

I

Серая раздороженная,
 в золоченных масках фонарей,
 словно Золушка, бегущая от бала,
 зеркало-мим.

Крест достает из готики ножен, тая
 цвет, небо твоей
 Венеции. Я не стала
 другим

рассказывать, что, ее безнадежная
 падчерица, купола
 закрашиваю белизной,
 которой притворяется лист.

II

Посторонние дожди ноя-
 бря глядят мимо зла,
 но и это обманчиво. Зной
 обрушивается на свист

ветра. Но даже от холода
 дальше, чем от
 расцарапанной смутной воды,
 эта странная гондола букв.

Это соло для дам,
 у них тело Минервы и белый живот

Мадонны, и руки выводят в «Ты»,
как в Космос, который выбросил стеклодув.

III

Никого внутри. Или ты обнимаешь сам, а я
опускаю буквы к ножу
четкой линии горизонта, боясь
выйти вон и закрыть этот мир без дверей.

Никого внутри, только я, стеклянная,
оловянная, деревянная, вывожу
в феврале непонятную вязь,
свой Египет придумав ей.

Но вокруг пустыня и осень-зима, и выгнуты,
словно бритвы, мосты, в узких венах
Венеции что-то бормочет кровь, как граппа
в бутылке. Не жалея утраченных слез.

IV

Обращаться к тебе без букв не отвыкну, «ты»
теряет черты, обретая утраты, и, евнух
в гареме звезд, месяц точит секиру. Игра по
правилам: год гол и бос, если он всерьез.

Кавалеры в треуголках, засыпанных в проруби
площади голубями, плывут над соборами. Это
карнавал, где не узнаю, что твой эпителий,
никто. Потому и ты там.

Только остров один населен, впору бы
и ему разлететься, утонуть, обгоняя транкетто,
соло старых соборов, дуэты отелей,
пансионеров. По белым ногам

V

вниз стекает вода, убегает в собор, и Земля растворяется.
Все длиннее строка, необученной шаг. И народ
превращается в маски, как будто в людей,
в одиночек. Словно песнь неокрепшей беды

продолжается. Вот еще, будто был, год проходит. Ныряет за
предел неумелое слово в бумагу, шарахнувшись от
этой поступи тихой и медленной гондолы, с ней
в серый отсвет лагуны врываешься безбуквенный – ты.

Обретается ритм или рифма, спускается лестница.
На поверку вода, а за ней неумеренный свет.
То ли город возносится вверх, то ли в сумраке месится
новый космос, в котором из нас никого больше нет.

Февраль 2008

Валентине Полухиной

Рыжеволосой женщине, находясь
у нее на руках, не глядя отдавал тот же
взгляд, цвет и разрез глаз,
равнодушно, как любой бы другой,
кот, восстанавливающий связь
с тенью, на этот раз подобной коже
полночи, исцеляющей, словно тень Петра, лаз
в неизведанный свет – нет – тот. Святой

(неразборчиво) открывает врата поутру,
и заходят в Азию крики, шумы
пальмовых листьев, моря, копыт
белой ослицы, осилившей путь, но уже выпит
последний глоток горькой воды с пеплом красной коровы¹.
И слова настаивает, как дорогой коньяк, вид за окном: «Не умру».
Рыжеволосая женщина с абсолютным слухом не скажет «мы»,
но позволит коту кусаться, лишь ей известно, кто не забыт
из этих и кто возвратится в Египет,
и не ей против шерсти кошачьей спрашивать: «Кто вы?»

В этой стране всё, как и было, и дом
не найдешь, не вернешься туда, где был как не был, вместим
здесь любой предел, им разбросаны книги, как могилы царей. Сам у
каждой песчинки-пощечины всеми зрачками впиваясь в «дальше»,
посылает приветы Свои изредка через рыжеволосых².

А может быть, черным котом
ты действительно забредал в Иерусалим,
радуясь и печальясь всему,
впечатанный в полые книги, бесполые дни, уходя. Край же
известен тебе одному.

Кот несет над руками взгляд, словно царский посох.

Март, июнь 2008

¹ Горькую воду, смешанную с пеплом красной коровы, которая непосредственно связана с приходом Мессии, в храме в Иерусалиме давали людям, чтобы проверить, правду ли они говорят. Если лгали, то после глотка воды умирали. По преданию, эту воду дали испить беременной Марии и Иосифу.

² Помимо прочих ассоциаций: царь Давид был рыжим.

Дарение книги – доверие.
Так дерево дарит листву своей тени.
И та с благодарностью считывает
этот выпуклый смысл, тихий шорох,
и оживает.

*

Он быстро привлек ее к себе,
и девятибалльный шторм почти разорвал ее губы,
как Вселенная – ночь. Только так
темнота себя чувствует женщиной.
И оживает.

*

Дуло прижалось к затылку
и выдохнуло. Насквозь
пуля летит мимо сотен мыслей,
забирая их наконец-то в бессмертие, и бессмертие
оживает.

*

Никогда не сказать, как хотеть
чуть невесомых касаний пальцев от живота и вниз,
сбегающих по странице букв,
беглых и сладких слез чужого выздоровления, и страх
оживает.

*

Ребенок бежит навстречу распахнутому
кресту матери, в единственное да,
безошибочностью отменяющее
следующую возможность, и нет упованью предела,
и время...

*

Судьба наклонилась и что-то шепнула на ухо,
чуть пролив оливковое масло из черных маслин,
отломив глиняный наконечник бесформенного кувшина,
и пепел ее сигареты, лаская шею, выпорхнул Эвридикой
из Орфея, как бабочка...

*

В черном углу картины белела подпись
смотрящего на нее, еще вчера
ее не было, но сегодня картину вынесли
на открытую местность, и все увидели:
подпись...

*

Можно еще зачерпнуть воды
с берега, передать другому, тост произнести
о вечной жизни, но мутный тяжелый Стикс безотказно мелет...

Август 2008

I

Вместо Господи Боже мой
говорю Спасибо Тебе,
словно это не я говорю.
А мой голос, почти живой
и почти звучащий на бе-
лом листе лета шлет
самому Тебе весть мою,
обтекая пустой живот.
На какие молчишь голоса,
чтобы слышание осязать
я могла на любом краю.
Пробираются пальцы за
горизонт – Твою рукоять,
я успею, пока говорю,
ничего тебе не сказать,
и Тебе возвратить благодать.

II

Ты понимаешь, что дерево круглое,
совершенно круглое,
как ни обходи, вернешься туда,
откуда начал.
Вернись, увижу тебя на скамейке,
и ты не будешь кем-то кроме,
но так же увиден, как всё,
что еще существует в саду.
Пока дерево – шар.
И плоды, плоды повернуты
лицом к небу.

III

Поцелуй – это рана в рану,
персты в персты,
ни приблизиться, ни остановиться.
Уступаю тебя монастырскому меду.
Даже отсветом не нагрюну,
эти капли легки и просты,
словно солнечная сукровица.
Пей сгущенную воду.
По зажатым губам, по глазам,
всерасторгнутым спинам
потечет, опрозрачит, раздарит.
Рана в рану, и боль бесподобна.
Вот уже улыбается Сам
на ладони, подставленной Сыном,
но дрожит бессребреник-скарעד
на губах, будто куст возле Овна.

IV

В душе заяц беленький,
а когда постареет, станет
еще более коричневым.
Во рту у него разносящая зелень трава
опадает черникой росы
на фоне неба телесного цвета утра,
надетой на сросшееся троеточие муравья,
зарастающего янтарем луча.
Мошкара, засоряющая луч, зарисовывает возможность
равнины подняться вверх.
Как же мы грандиозны в них.
Ни один телескоп не ухватит,
линза не преломит.
И красиво умудренное нетронутостью умирание,
переходящее в жаркий полдень и влажную полночь.

Если снять замедленным кадром,
можно вместить всю,
и нашу,
жизнь в сон зайца со вздрагивающим сердцем.

V

Не вплетаю узоры в твою дорогу,
ступни ангела – слезы,
если были бы, понемногу
вытекая из расстояний, как смерть, тверезых.
Как могла бы ранить, чтобы не зазорно
в пустоту потом, во глухую заводь,
но идет, грызет виноградные зерна
ангел по небу, не умея плавать.
Но лицо сухое, как небо в звездах,
но заточен нерв не прямых касаний,
и уходит ангел в своих серьезных
никаких одеждах. Теперь мы сами.

P. S. И свет этот столь тих, щедр, явственен и ненавязчив, что ничем не нарушу оглашенное в нас молчание. Словно оно и есть предвосхищение большего гласа. И свет этот настолько самодостаточен, что его будет вечно не хватать. Облака растворяются в ровном холодном небе, обезличивая очертания, лес, переполненный ягодами, мысли о винограде, запутавшиеся в волосах. Небо входит в зрачки и выбывает через затылок. Скоро переменится погода, и она сотрет последние капли пота на интонации. И пока пишу, принимаю и смиряюсь. Пожалуй, чуть ли не впервые.

Июль, август 2008

Если по первому шагу догадаешься,
что будет после тысячи ли, значит ты
уже начал свое возвращение –
мимо вскинутых, будто пальцы в просьбе,
готических башен, упругих грудей
мечетей с затвердевшими сосками,
пагод, в которые, будто те же пальцы внутрь,
проникают люди в оранжево-честном.
И природа являет эротику легкого ветра,
от которого листья срываются, если только осень...
Ты ее замечаешь сейчас, по возвращении,
лишенном прикосновения, встреч, языка,
с первого шага зная, что чувство дороги
и есть долг изначальному. Что всегда быть вовремя –
отсутствовать. Ты замечаешь все,
потому что этого нет, и не было никогда
в трех временах, придуманных лишь для первого шага.
Чтобы выдуманные фотографии замечали
выдуманные перехлесты линий,
составляющих города, окрестности, тени,
в которых наши черновики-тела
закрывают за собой горизонтальные двери.
...И камера отъезжает, отъезжает, укрупняя
твое исчезновение, обнажая пейзажи пустой,
совершенно пустой и прекрасной природы.

*

Зной, как гной, выплеснутый из нарыва солнца,
превращал в призраки даже мысли,
делая их никакими, как растекающаяся по столу вода,

пекло текло сквозь пальцы
силуэтов. Отныне способных в виде людей появиться
в случайной и ясной дремоте.
Улицы и аулы, ауканья кишлаков, кишмиш городов со спутника –
ах, как там холодно – тепло – безжизненно – хорошо.
Вот так, потихоньку, мы совпадаем, говоря о разном,
но об одном и том же, никогда не узнавая,
где и в чем. Будь то белокурые юноши из мечетей,
сказанные поодиночке нами,
перемещенные местности в область
тупика – он же идеал... И недвижимый полет
ночи в сандалиях отражений песка, песок
спадает с земли в космос звездами,
лишенный, лишаящий многолюдья, где даже один –
это слишком много, чтобы нас увидеть,
впадающих в общие строки и не
обманываясь ни одной из них.
Будто пульс один говорит о присутствии и случайности жизни
в теле, ауле, ауканье, улице, выдумке
мироздания как мироощущения, и мы проходим насквозь,
и только так вдеваем друг в друга, а дальше –

*

В тебе столько тишины, дышащей, достойной,
что любое мое слово все равно уклонится
и минует тебя, и любые другие слова
перестанут собою быть, не дойдя, разлетаясь в стороны,
будто птицы – мошки – пыльца, вконец растворяясь
в воздухе, даже его не тронув.

*

Я знаю, мой тон посчитаешь вторжением,
но сила отсутствия у тебя не сильнее
моей – силы притяжения.

Пустыня всегда радуется сопутствию этих сил,
ибо только они и делают ее пустыней,
где давно никто не вопиет,
но живут молча и отдаляясь более,
чем песчинки на ветру, созданные им
не для песка.
Больше мне нечего говорить – лишь уступать
и не блазниться о прохладе
ночи, где только звезды
мешали бы думать, что ничего нигде нет.
И тут я посоветовала бы оператору
выключить камеру
и просто смотреть на свою
удлиняющуюся тень,
без всяких дурных аллюзий,
чистое созерцание,
лишенное прикосновений.

*

Из этих тихих невыношенных зрением солнечных бликов
тупое тиканье черпает медленность черепахи,
и меня покрывает панцирем безразличия.
Но режиссер умен, и подкладывает в него мину.
Мечты и фантазии – только форма прощания.
На самом деле мне не о чем говорить с тобой,
и ты слова создаешь
из пейзажей лишь для того, чтобы уходить
от любого приближения – но которое можно избежать.
Остальное с тобой молчит одновременно.
Мне хочется взглядом разделить тебя на молекулы,
и именно так раздеть,
ибо мало тела, копошащейся в нем души,
духа, вселенного и в тебя, как в глиняного божка,
в жужжащее насекомое, невзначай
залетевшее через отверстие – упущение мастера.

Мастер упрям, и уводит в стороны. Стороною.
И нет конца окраине,
по которой медленно убегают к полудню ящеры строчек,
истекает коричневой кровью киноплёнка,
и солнце печет, не запечатлевает, и запечатывает
взгляд. Современность друг другу делает нас игроками
другой игры.

Мина взрывается, только когда режиссер скажет «Стоп».

Сентябрь-октябрь 2008

* * *

Не говори ничего постороннего.
Просто закрой на ключ случайную дверь
и стой за спиной, пока я плачу,
невидимо для нас обоих.
Через час я умру, не умерев,
и сейчас дай молчать нам обоим,
как позволяешь только себе,
пока я выдумываю этот час.
И тебя за спиной.
В комнате с окном и односпальной кроватью,
у которой слились в один силуэт
неподвижные две фигуры, обретающие
профиль дерева.
Никогда не позволившего себе расцвести.
За окном – ничего, кроме
пустующего неба,
на которое смотришь ты мимо всего,
не замечая, что я впереди
и не слышу твоего дыхания.

Сентябрь 2008

Разослано платье по телу, как порох
по полю, идешь среди тех, у которых
не выпросишь крохи насыщенной и корок.

Любовь. Залезает за полночь, за полог,
за всякий порог, и в кошунственных датах,
похожих на мысли, ждешь дней небогатых.

Любовь. Без всего. Допустима настолько,
насколько Вселенная кажется стойкой.
И в смысле что пьешь беспощадный напиток.

Забвения нет. И забвенья избыток.
Идешь среди всех, кто никак или дорог.
И вот что еще заползает за сорок –

Любовь. Невозможная выдохом «Боже».
Глотаешь причастие сдернутой кожей.

Февраль 2009

То, что сильно, пишется слитно.
«Ялюблютебя», – говорю,
не разжимая губ.

Но Господь такой умный, что вид на
другое открывает на самом краю,
и архангел не груб, не глуп,

возвещает о той любви, что вблизи невозможна.
От растерянности появляется много букв
в человеческом лексиконе, но

только ты, «ялюблютебя», тела два кроит, словно нож на
свежесломленном хлебе, и Кровью из двух
вылепляет невидимое – одно.

Если только еще увижу тебя, если то,
разжимать ни души не стану, ни губ.
Дева знает иной любви исток.

Истекает Небо любимыми цветами, Святой,
Ты, Господь, однолюб,
но и мы любимыми стать не умеем в срок.

Ты Господь однолюб, ялюблютебя, так люблю,
что за край иду, выстаивая на краю.

Ноябрь 2009

вот что достану тебе из кармана:
ручку дверную, слезку и корку
раны, оставшуюся от сердца,

эхо звонка, полуклика: мама
утром, когда только солнце к пригорку
сна подойдет, чтоб зарею зардеться,

кашель негромкий из комнаты: гости,
строчку под вечер, листа молчаливость,
запах, на равных размешанный с болью,

вот еще маленький, маленький гвоздик,
я не хотела, но так получилось –
все, что оставляю Тебе и с Тобою.

Июль 2009

Если узнаешь что-то новое, непременно сообщи мне,
пока еще есть куда входить, что читать, с кем
разговаривать...

*

Новым становится прикосновение, если нужны нервные окончания,
и потому каждая клетка мешает идти все дальше, и только
так назовешься святителем тела.

Одежды твои находила в отбывших тенях, будто в полдень отчалили
корабли в море, вечно лишенное горизонта, где стойкой
бывает вода, что бы в нее ни влетело...

«Солнце знает свой запад»¹, возвращаешься в место, откуда выбыл.
Любви все равно, где дышать, с кем дышать, сокращению мышц
лишь она отдает перспективу как дар, непокой.

А мы шли неизвестно куда – чешуя, буква О в молчаливом дыхании рыбы,
словно Горовиц, музыке вслед разводящий губами, словно мышшь,
незаконнорожденная старой горой.

А мы шли. Увеличив собою бесцветные дыры, из огня в полымя
пустоты. Жизнь тянулась резиной, не выдумав рыться
в небесах, где что-то случалось порою.

Новое можно сказать, только если сказано вовремя.
Потому и Его слова понятнее научных открытий.
Но это другое.

*

На выходе тебя остановят и спросят, узнал ли ты что-то новое,
и я за тебя отвечу все то, что увидела
в ярких твоих глазах...

Февраль, март 2010

* * *

Я помню хорошо: ты свет включил,
рукою потянулся к стопке рваных
желанных книг, и вытащил-стацил,
как целый мир,
одну, что тот рубанок
пол-леса, и читал, читал, ключи
покачивались в скважине, как щит
и меч, и было столько в нас изнанок,

что даже не потребовать любви.
Какой-то вечер вдоль окна бродячим
сюжетом рамы высветлял, и вид
у нас, как щит,
был лаской одурачен,
невнятным бормотанием обвит,
дыханием без смелости молитв.
И зря не прорывающимся плачем.

А может, это я включила свет
задолго до того, и без рубашек
так навзничь опрокинутых, что спет,
как только нет,
рождественский барашек,
успевший пасть, распасться в неответ,
затравленность закрашенных бесед,
в канун – не ставший и почти не ставших.

И я читала и читала, сюр
мечом ключа вскрывая, поелику
в окна носу
спал вечер на весу

¹ Из псалма 103.

под вымышленный мимоход, я мигу
доверилась, что ветки в том лесу,
который снес рубанок, сделал всю
оставшуюся от поэта книгу...

Январь 2010

* * *

Говоришь мне, девочка, жизнь за него отдам,
но Его люблю прежде всего,
и вокруг тебя темнота извивается здесь и там,
справляет на кухнях, в трапезных торжество,
искушает праведностью, и укус
ее так смертелен, что даже слеп
тот, кто светел рядом. Но шаг – готов.
И черты твои заострились, девочка, и окреп
голос, а Ладонь прожигают угли неверных слов.
Все мы – раны Его. Но по-разному не болит.
Но по-разному убивает. А может, наоборот.
Говоришь мне, девочка, и я прячу стыд,
что в ответ молчу и в ответ раскрываю рот.

Этот мир лишь келья. И потолок
голубой и черный, и пол земляной,
нас не спрячут, но выдадут. Голубок,
голубок ты мой, не лети, говоря: «Вот Мой...»
А как выдадим мы Его. А как все сдадим.
Протыкая собою Ладонь, ребро...
Ты иди, родная. И он, любим,
пусть, родной, идет. И я так люблю его...

Что не знаю рифм ни к чему, к Нему
больше всех, всего, потому молчу.
Не объять бы тьму. Не объять бы тьму.
Даже если – слеп. Но зажечь свечу.

Для нее подсвечников нет – лишь одна душа...

Январь 2010

Первая любовь дала нам жизнь.
Вторая любовь отдала жизнь за нас.

И мы плачем по третьей любви...

*

Подвергни меня молчанию,
чтобы детям любого возраста

было понятно мое существование...

*

Дым – это легкие грязи после ее вскрытия,
она внутри столь пестра, что себя выдает лишь целителям,

узнающим ее и прощающим нам.

*

Потом утончаются мамапapa, имена, дорожке которых, острием
впадая реками во власть Языка, который предпочитаешь

жизни, смерти, другим потерям. Растворяясь в твердыне смирения.

*

А ведь не скажешь, что Тебя слишком много,
напротив. И именно в малом – для нас – Твоем

призываешь быть. Каждый день с нуля. Словно есть выход...

Январь-февраль 2010

«Да», – говоришь Господу, словно «Дай»
говоришь. И Он смотрит прямо,
а кажется, будто кротко глаза опустил.

Но Он смотрит прямо, а ты – не в даль,
не в близь, и говоришь, в середине храма,
будто еда посреди стола, у которого сытые спят без крыл.

Но Господь подносит чашу к губам.
«Пей», – Говорит тебе, «Пей», –
говорит. «Ешь, – хлеб без корки ломает. – Ешь».

И ты смотришь на руки свои, в крови, и там,
за воротами просят тебя – налей,
и голодных больше, чем мыслей и слов, за которыми ты идешь.

Март 2010

Сказал Господь Господу моему...
 Что услышать нам?
 Почему?

Цекровь, деточка, це кровь...
 Как апостолы, разбежались все мы,
 пока Он ведом на суд, на Распятие. Смыв

свои слезы, найдем покров,
 и прикроем не чресла – душу, а там
 хуже некуда, хуже – тот

разбег, что взяла давно
 наша церковь, наша Це...
 Пока Он ведом, пока мы из тьмы.

И из этих пустот
 растет горькое зерно,
 сокрушается об Отце.

И сказал Господь Господу моему...
 Что услышали мы?
 Почему?

Март 2010

Тот не может быть Моим учеником,
 мучеником...
 Как же так, родные, идти, уходя?
 В вас Он был узнаваем. Но жизнь есть свобода
 от любимых – любить. Это Ты захотел, это Да
 Твое нам, в ком из нас – Дитя?

*

На осле молодом, белый, тихий от слез,
 не из врат Ты вошел – из Овала
 Лика, или лица каждой твари земной.
 И никто не узнал, что с собою принес,
 и тростинка души ликовала,
 отгибаясь от встречи с Тобой.

*

А орава кричала «Варавва».
 Разбежались – в лохмотья.
 Я, как бешеная, орала:
 Господь мой!

*

Исчезала, Тебя касаясь,
 но оставить Тебя не могла.
 Вот настало. Разверзлась завесь.
 Разразилась вся зависть зла.

Раввуни, вслед – куда угодно,
 что бежать, если жизнь есть Ты.

Отвергаю весь мир, что отдан,
взор вонзая в Твои черты.

Где найдут мои ноги камень,
что позволят глаза – теням?
Кто-то движется. Дух мой замер.
Для Тебя – от Тебя.

– Мириам!

Март 2010

* * *

Вот плывут три красавицы, три девицы,
рядом молодцы – бородаты-нельзя-побриться.
Дверь железная, цок – засова копытце.
Каждый спешит быть первым – хлебнет чечевицы.
Лики безлики. Разны языки. Неисцелимы границы.
(В каждом сидит пограничник – жаждет напиться.)

Если эти – невесты, то, дикорастущи,
кто же монахи Ему? Плодятся, тьма-тьмущи,
как ответы, запреты. Не меняйся одеждой, несущей
пол, не тки из разных покров на сущий,
не родны разнородные. Яблоки плюща,
нож на кухне шныряет в райские кущи.

(Шерсть и лен ходят теперь вдвоем.

Засеваются семена на.

Виноградники в водоем

смотрят. Здравствуй, страна!

Поле одно на всех – всем единый дом.

Те же тела входят во времена.)

Зачем смотреться в зеркало, если вода вернее?

Оно уводит назад, она... О ней и

стоит думать, дуть и пламенеть.

У заблуждений тонки, велики высоты.

Матушка моет посуду и не жалует соды.

Матка не жалит – хранит Свои кельи-соты,

молча зияющие в бывших скалах. Вот и

пара бумажек с разными именами – ими взбивают ноты

дети бездетные, ввек не познавшие Роды

Твои...

Каменный стол. Пятна желтые солнца. Чаша.

Как сладка и невидима кровь – вся наша.

Ноябрь 2010

вышивай, любимый, крестиком, вышивай.
говори и пой, говори, как Господь велит.
твое платье другим охрана, неделя ваий –
во преддверье, меч: боль удара, неведом вид.
вышивай, опустив глаза, лоб широк, высок,
занялся огонь в этом сердце, рука летит,
что тот голубь, в руке игла, и седой висок,
молодой ты мой, светом, словно водой, облит.

научи любить так, чтобы быть готовой и быть,
и к разлуке, к любому телу, пускай же нить
вдоль и поперек, мою каждую клетку сквозь,
вышивай, любимый, твоей вышивкой стану – врозь.
и материи хватит на сто стихий наперед.
все ты спрятал, а я не учусь без побочных слез.
и восходит на гору сердце, и не уйдет.
узнаю тебя, заходя в обитель не над,
а внутри, где «помилуй Господи» так всерьез,
что склониться бы, да смотрю и смотрю, «исцелю»,
слышу чье-то молчание, знаю, Он здесь, Христос,
и двенадцать апостолов тихо вокруг стоят,
и один на всех поцелуй.

*

*А придет Христос, не к нам и не к ним,
Он пройдет через нас, к блокпостам, никем не любим,
Он войдет к тем, кто мест-женихов-невест
не выбирал, в каждый двор или каждый подъезд
ступит, разбудит, расскажет, как все отдать:
родину, око, руку, ногу, отца и мать,
Он войдет и скажет: отдав – люби.
Это был бы Крест. Без оков в цепи.*

Ноябрь 2010

Дух расправляется с нами по-разному.
Любовью, милостью,
талантами, в газовую.
Виною, винностью...
Хлебом, хлебностью,
присной потребностью.
Югом-севером-востоком-западом,
каждым запахом.
Звонками,
пустыми радиоволнами,
клетками, генами, клонами, в полную
меру и веру. Сном. Алфавитами.
Скальпелем, ниткою, лимфою, слитою
(написание в корне слитное),
со всякой болезнью пулей, молитвою.
И городами и весями. В резкости.
В каждой детали, любой неуместности.
Словом, детьми и бездетностью. Честностью.
Может молчать, отвечая неистово...
Чистым пребыть по прибытии нечистого...
Дух расправляется в храме и во поле,
в небе, в квартире,
не в Константинополе,
не во Святом граде. Разве что около
жизни, где есть
ощущенье высокого.
В жажде души, невозможности нации
в ней и объятия. В платье и
без платья.
Сам для немногих с Собою –
в Распятии.

Бьет по щекам – не успеешь подставиться,
зуб не отдашь – выбивает все к старости.
Око мутнеет, крыло осыпается...
Что-то кончается.
Догмы есть ереси.
Хохмы премудрости.
Выделки прелести.
К старости есть очень хочется.
Мочится
веко.
И совести
б только
отмучиться.
У окончания
нету молчания.

Дух расправляется, дышит
где...
Лучше бы в винограде
сгоревшем, дереве
в струпьях коры,
одиноким, маленьком,
ниже травы
цветке.
Люди созданы для огорчений,
а Дух совершенен.

Январь 2012

* * *

Если хочешь поцеловать – не медли,
завтра будет поздно, завтра
губы обольют медом,
размажут по лицу масло,
лучше которого
только запах жасмина
в Галилее.
Завтра замкнут несвежим словом
уста, ударом в спину,
дрождью в коленках
не от, но
страшной.

Скрежет зубов или пепел лет,
никем не прожитых,
наложат печать.
Мухи облепят, склеят
слюной пауки, черная
слипшаяся дыра
пустословия посреди
шевелиющихся червяков-
скороговорок.
Пока еще можно
молчать всю болью...

Что же смотришь...
Сильней Вселенной
крик – Подойди!
Что же смотришь...
Я слышу
запах жасмина...

Февраль 2012

*

Только люби, только люби,
а я смогу так любить, как умеют лишь песни,
жужжащие над головой,
кровавые комариные, они же – бомбардировщиков,
всех зародышей,
вырыгнутых утробой,
вырытых из ядерного взрыва нервов,
столкнувшихся в темноте,
песни таких трущоб,
что даже волки мирятся с голодом,
лишь бы обходить стороной.
Так любить, что убив тебя, я смогу стать тобой, съесть
по клетке, по капле, кусками, от жадности не успев выдохнуть.
И исчезну в тебе, о какое счастье,
исчезну в тебе.
А ты будь со мною нежен,
кончиком языка,
подушечкой пальца,
нежно перебирая ладонью
тело, состоявшееся лишь в тебе.

*

Женщина только тогда становится женщиной,
когда перестает быть женщиной,
корчась в крови и слизи, распахнув
все запахи, и выше
возможного боль в нелепой позе
уносит ее за пределы земного,
когда остается одно
чрево-о-о-о-о-о!

Я, побочный продукт мужчин,
принадлежащих чужим,
раздвигаю зажим,
ищу себе чин.

Я родилась, когда
сквозь хлеб просвечивала вода,
протекала земля, камни катились, для
голодающих голубей
не находилось ветвей, был та-
бу человек идущий,
они (оперение – опирание тьмы о свет) шустрей
разлетались, хоть ты любая фря,
вестник, сын или дочь,
пусть даже крошки не преломленных знаков
сломанных отражений в лужах грудились гуще
тряпья тучевого дней критических не-
бес нецелованных, где одинаков
всяк проходящий, ступени-ножи точит Иаков
в предвосхищенье хичкоковских птичьих дождей,
корм перспективы дробящих в свободном уме.

Когда белили боли, крах – мал, не
надевали белое. Не
снимали с разношенного тряпья
тела белья.
Не
носили крылышек, крыл, окромя
двух подколготочных пар, шуршащих, как гири
доносов, жалоб. Не говорили:
«Мне
так больше нравится», не

клали на грудь, не ткали клетки, не
знали эхоскопии.
И после «помилуй» не
помышляли: меня.

Побочный продукт, в концентрических трех
де-ржавых родилась,
дожила до
одной,
узкая дорога домой.
Птицы теперь гурьбой
идут за любой, жмут на права, жрут что
попало, от хлеба не мрут, и связь
между светом и тьмой
выражается белизной
на плечах. Но сильнее пох.

То такой блогер-бог,
вращающийся внутри,
потирающий три
пальца или все сто
рук, никакой на вкус
(скособоченность рифм
в образе подтвердит),
уподоблен на вид,
знает лишь наизусть,
что болит –
только ради того
и был создан. Зато
ест свое естество,
зная, как Есть, его блог под lock
сотворяет каждому потолок,
ведет на ту сторону, где не зовет Никто.

Мужчин, чьи джин-н-(с)ы мыслей смелей
плоти неверной границы в плети страстей точили, чьи
руки (ки)пели как соловьи,
привыкшие петь, – лезвия гласных, согласных штыри, –

чьи ноги прятали страх в незнакомых местах,
губы скрывались в губах,
замешая свои.
Честнее – кудрявых букв, из коих выращен лель
сказочек, бдений, молеельн, неисцелимеей, чем
звуки на языках, где обречен
говорящий. Чем
рана-марихуана-сука-водка вина,
фейерверк-семена,
выпавшие на.

Принадлежащих еде,
постелям, рабочим дням,
праздникам, своему нигде.
Я родилась не там,
я родилась втройне,
мне бы, да мне бы, мне...
Спазм взлетевшего гра-
дуса неприкосновений –
всем, что отнял и дал,
разрываю пол, как вены
смертник-зек,
вырывается баба-шрэк,
баба-взломанный-космос-крэк,
пол – та игла,
что рвет
красными нитками ткань. Рябь
на полынье,
раб-
желание,
дрянь-полет,
временно белль,
сквозь Истощение истончаю вопль: бей голубей,
пока отнимает код
доступа и живет,
не залезая под,
Голубь Тот.

Декабрь 2013

* * *

Поспорь со мной за тот клочок нетканый места
в пропахшем гнилью зале клуба, где женщина готова
убить себя и женщину под боком за право здесь отвоевать
местечко для ребенка,
местечки постепенно заустевают, и смерть
во двор выносят, шум не гуще дыма,
который застит небо,
пустое еще более, чем воздух
всех помещений, содержащих тела.
И то ли дело в этом небесном смраде
достать огрызок хлеба, чтоб не сдохнуть.
Не хлебом и не небом единым.
Дух функционален,
и даже остроумен – не дает
расслабиться, и дышит где желает,
и как бы ни стараться в чем попало
подпасть и под раздачу, и под милость,
в любом потóm сверкают штабелями
скелеты под землею, дав свободу
занявшим снова место здесь и где-то,
в бессмертном ожидании Европы и Азии, любого
прихода, будь Тот Самый или анти,
в поименованном нездешнем, что за гранью,
и щелкая по буквам, как по вшам
в одном из миллиардов помещений,
где нет ни пола, ни любви – но вши,
как буквы, бьются, обнажая тело и то, что в нем,
об пол без совести и без смущенья,
как брат о брата, о жену, о мужа,
поднявши мелочь свергнутых поступков
на выживания вооруженье,
оставив каждого наедине с собою,

со всем полупреступным основанием
считать любое равнодушие неба
смелей и вероятней
радуги на нем.

И я скажу, что красота подобна
реке, навеки уносящей трупы
сражавшихся за право все-владенья
брегами незаметными ее.

Март 2014

И ты думаешь, можно поверить,
 когда вернее взлетевший баскетболист,
 и сеть уловила мяч,
 и радость на лицах не сравнима
 с молчанием другой части трибуны.
 Нераскрывшийся парашют
 в обратном направлении,
 подхвативший вопреки всему человека,
 убедительней.
 Круг тоннеля, из которого
 вылетает поезд навстречу солнцу,
 с превосходящим ангелов количеством окон,
 немного помнящих о несущейся позади
 тьме, выверт лучей, падающих на утреннее море...
 Зрачки матери, упускающие из виду ребенка...
 Смотри на облако, только на облако,
 ничего в нем нет,
 кроме воды.
 Смотри на пустую стену, смотри.
 Здесь тоже твое отражение сплетено с замыслом.
 Может, тогда Я поверю в тебя,
 верящего в Мое Вознесение.

Май 2012

Предисловие	5
«Говорит он деве слово...»	11
«Распоется цевница в начале дня...»	13
«Зачем еще звезда, когда – Звезда?...»	14
Великий пост	15
Пасха	16
«Если только зима потому...»	18

МЕТАНИЯ ЗВУКОВ

«Набравшись слов, как Демосфен камней...»	21
«Красивое, ничего не значащее лицо...»	23
«Опечатка звезды на чистейшем тексте неба...»	24
Ладони с лицом	26
«В этом городе, полном обмана...»	27
«По безусым юнцам, узнающим себя в колыбели...»	29
«Есть имена, которые надо забыть...»	30
«Каждый год – гол...»	31
«Облупленные стены Кабо-Верде...»	33
«И вертится душа, как палец...»	35
«То ли крест, то ли плюс...»	36
«у русел ручьев русофильский наряд...»	38
«Чудо ли – чада Киева, дни...»	39
«Из устья лилась непотребная речь...»	40
«Слишком длинная очередь у врача...»	41
«Князь, зачем художникам мосты...»	43
«Янеттебе янет Тебе из волчьих вотчин...»	44

КРУГИ НАД ВОДОЙ

Ко дню рождения	47
«Снимает Освальдо все листья с асфальта...»	49
«Платит прадед одиночеством взгляда...»	51
Песни стоптанных мирян	52

«Пожалуйста, догадайся, нежнее, еще, еще...»	56	«не лайкай родину, не лаяй...»	132
«Это дикий каприз Парфенона...»	59	«Итак, спускаешься в город...»	133
«Никакого вечера не надо...»	60	«Киев тоже город тоже река то же местечко...»	134
Close-down Case	61	Масленица	135
Из цикла «Израиль, вид снаружи. Моток дорог»	63	«Если ты прощаешь зло, не называя...»	136
«Только мысль о тебе помогала заснуть...»	74	«Уходи на войну, мой родной, уходи на войну...»	137
«Нет, я так и не смогла узнать никого, хотя они...»	76		
«Купол взрывается черными точками птиц...»	77	ПОПЫТКА ЛЮБВИ	
«Вырванная выровненная страница...»	78	«Я поняла, как хочу тебя любить...»	141
Night Watch	79	«Столько точного сказано про любовь...»	142
«Ему было столько лет, что ей казалось: она молода...»	81	Оглянувшаяся – уйти	143
Наводнение 2007	82	«Иоганн Себастьян посмотрел в окно...»	147
Первое сентября	86	Детское	148
«Она купила шампунь для сухих...»	87	Необитаемый карнавал	149
24 мая очередного года	88	Встреча в Иерусалимской библиотеке	152
«животное идет умирать в пустынное место...»	89	Застолье во время берега	154
«Когда идет дождь, забываешь, что дождь идет...»	90	Письма к северному вдоху	156
		Непозволительно южным дыша	159
УХОДИ НА ВОЙНУ		«Не говори ничего постороннего...»	163
«партизранивший, насквозь пробивший леса...»	93	«Разослано платье по телу, как порох...»	164
«Как странно, сегодня была далеко я от смерти...»	94	«То, что сильно, пишется слитно...»	165
«Сначала рука подхватила волосы...»	96	«вот что достану тебе из кармана...»	166
«у маршалов иные времена...»	98	«Если узнаешь что-то новое, непременно сообщи мне...»	167
«Ты давно Божью Матерь принимаешь за мать...»	99	«Я помню хорошо: ты свет включил...»	169
«На упругих ветках колымы...»	100	«Говоришь мне, девочка, жизнь за него отдам...»	171
«Советские евреи, подверженные ринопластике...»	102	«Первая любовь дала нам жизнь...»	172
«Они еще живы, защелки в домах...»	103	«“Да”, – говоришь Господу, словно “Дай”...»	173
«Где, страна, только не ночевала...»	105	«Сказал Господь Господу моему...»	174
Прикосновение к Грузии	106	«Тот не может быть Моим учеником...»	175
просто-народный-плач	108	«Вот плывут три красавицы, три девицы...»	177
Вместо прощания	109	«вышивай, любимый, крестиком, вышивай...»	178
Песенка на одной струне	111	«Дух расправляется с нами по-разному...»	179
Никози осенью, 2008. Дорогой к воде	113	«Если хочешь поцеловать – не медли...»	181
«В воинской чести зачеркнуто части...»	126	Из цикла «Любовь в Париже»	182
«Генерал-лейтенант закурил, задымил...»	127	«Я, побочный продукт мужчин...»	183
«вернуть себе вены, гулять по кривой...»	128	«Поспорь со мной за тот клочок нетканый места...»	186
«Пока ходят под облаком геи...»	129	«И ты думаешь, можно поверить...»	188
«часы честности сверять...»	131		

Литературно-художественное издание

И н н а К у л и ш о в а
ФРЕСКИ НА ВОЗДУХЕ
(Нервное доверие)

Выпускающий редактор Елена Пахомова
Дизайнер книги Я. Красновский
Компьютерная верстка Ю. Мосягин

Литературный клуб «Классики XXI века»
Москва, Страстной б-р., д. 6 стр. 2,
Чеховский культурный центр

Издатель: ИП Пахомова Елена Алексеевна
Россия, 125040, Москва,
Ленинградский проспект, 11-28
classick21@gmail.com

Подписано в печать 09.05.2014.
Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная.
Гарнитура Garamond Premier Pro.
Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии «One Book»
Москва, Протопоповский переулок, 6
www.onebook.ru



И н н а К у л и ш о в а родилась 21 марта 1969 года в Тбилиси. Поэт, переводчик, филолог. Автор книги «На окраине слова» (Израиль, 2000). Вне контекста, вне конформизма и комфорта, вне формата, вне идеологий; свободна быть и не быть, знать и не знать, на грани сквозь границы, на краю сквозь крайности; осваивает главный урок И. Бродского: всегда есть дальше.

«She graduated from Tbilisi University. Her doctorate, on Joseph Brodsky, was completed in 1998. Brodsky had a high regard for Kulishova's poetry, which she has writing since the age of six».

Modern Poetry in Translation № 20. Russian Women Poets (Edited by V. Polukhina and D. Weissbort, London).

ПОЭТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА
«КЛАССИКИ ХХІ ВЕКА»